

75.21.1407

173

РУССКАЯ БИБЛИОТЕКА.

Книга

17

ТЭФФИ

# КНИГА ЮНЬ

РАЗСКАЗЫ.

---

БЕЛГРАДЪ

1931

ТИПОГРАФІА  
И  
ЛИТОГРАФІА  
РАДЕНКОВИЧА  
Бѣлградъ.

РУССКАЯ БИБЛИОТЕКА.

Книга

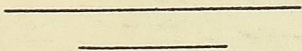
17

ТЭФФИ

*Тэффи*

# КНИГА ЮНЬ

РАЗСКАЗЫ.



БЪЛГРАДЪ

1931



Бр. 1419

Всѣ права сохранены за авторомъ



Типографія Раденковича — Бѣлградъ, Космайская 53.

Дорогому другу  
П. А. ТИКСТОНУ.



## Книга іюнь

Огромный помѣщичій домъ, большая семья, просторъ свѣтлаго крѣпкаго воздуха, послѣ тихой петербургской квартиры, душно набитой коврами и мебелью, сразу утомили Катю, пріѣхавшую на поправку послѣ долгой болѣзни.

Сама хозяйка, Катина тетка, была глуховата и поэтому весь домъ кричалъ. Высокія комнаты гудѣли, собаки лаяли, кошки мяукали, деревенская прислуга гремѣла тарелками, дѣти ревѣли и ссорились.

Дѣтей было четверо: пятнадцатилѣтній гимназистъ Вася, ябедникъ и задира, и двѣ дѣвочки, взятые на лѣто изъ института. Старшаго сына, Гриши, Катинаго ровесника, дома не было. Онъ гостилъ у товарища въ Новгородѣ и долженъ былъ скоро пріѣхать.

О Гришѣ часто разговаривали и, видимо, онъ въ домѣ былъ героемъ и любимцемъ.

Глава семьи, дядя Тема, круглый съ сѣдыми усами, похожій на огромнаго кота, щурился, жмурился и подшучивалъ надъ Катей.

— Что, индюшенокъ, скучаешь? Вотъ погоди, пріѣдетъ Гришенька. онъ тебѣ голову скрутить.

— Подумаешь! — кричала тетка (какъ всѣ глухіе, она кричала громче всѣхъ). — Подумаешь! Катенька — петербургская, удивять ее новгородскіе гимназисты. Катенька, за вами, навѣрное, масса кавалеровъ ухаживаютъ? Ну-ка, признавайтесь!

Тетка подмигивала всѣмъ, и Катя, понимая, что надъ ней смѣются, улыбалась дрожащими губами.

Кузины Маня и Любочка встрѣтили привѣтливо, съ

благоговѣніемъ осматривали ея гардеробъ: голубую мажорску, парадное пикейное платье и бѣлая блузки.

— Ахъ-ахъ! — механически повторяла одиннадцатилѣтняя Любочка.

— Я люблю петербургскіе туалеты, — говорила Маня. — Все блеститъ, словно шелкъ! — подхватывала Любочка.

Водили Катю гулять. Показывали за садомъ густо заросшую незабудками болотную рѣчку, гдѣ утонулъ теленокъ.

— Засосало его подводное болото и косточки не выкинуло. Намъ тамъ купаться не позволяютъ.

Качали Катю на качеляхъ. Но потомъ, когда Катя перестала быть „новенькой“, отношеніе быстро измѣнилось и дѣвочки стали даже потихоньку надъ ней подхихикивать.

Вася тоже какъ будто вышучивалъ ее, выдумывалъ какую то ерунду. Вдругъ подойдетъ, расшаркается и спроситъ:

— Мадмазель Катринъ, не будете ли добры точно изъяснить мнѣ, какъ по-французски буеракъ?

Все было скучно, непріятно и утомительно.

— Какъ все у нихъ некрасиво, — думала Катя.

Бли карасей въ сметанѣ, пироги съ налимомъ, поросятъ. Все такое не похожее на деликатныя сухенькія крылышки рябчика, тамъ, дома.

Горничныя ходили доить коровъ. На зовъ отвѣчали „чаво“.

Прислуживавшая за столомъ огромная дѣвка съ черными усами похожа была на солдата, напьялившаго женскую кофту. Катя съ изумленіемъ узнала, что этому чудовищу всего восемнадцать лѣтъ...

Была радость уходить въ палисадникъ съ книжкой А. Толстого въ тисненомъ переплетѣ. И вслухъ читать:

Ты не его въ немъ видишь совершенства  
И не собой тебя прельститъ онъ могъ,  
Лишь тайныхъ думъ, мученій и блаженства  
Онъ для тебя отысканный предлогъ.



И каждый разъ слова „мученій и блаженства“ захватывали духъ и сладко хотѣлось плакать.

— А-у! — кричали изъ дома. — Катю-у! Чай пи-ить

А дома опять крикъ, звонъ, гулъ. Веселыя собаки бьютъ по колѣнамъ твердыми хвостами, кошка вспрыгиваетъ на столъ и, повернувшись задомъ, мажетъ хвостомъ по лицу. Все хвосты, да морды...

Незадолго передъ Ивановымъ днемъ вернулся Гриша.

Кати не было дома, когда онъ пріѣхалъ. Проходя по столовой, она увидѣла въ окно Васю, который разговари-валъ съ высокимъ, длинноносымъ мальчикомъ въ бѣломъ кителѣ.

— Тутъ тетя Женя кузину привезла, — рассказывалъ Вася.

— Ну, и что же она? — спросилъ мальчикъ.

— Такъ... Дура голубоватая.

Катя быстро отошла отъ окна.

— Голубоватая. Можетъ-быть, „глуповатая“? Гслубо-ватая... какъ странно....

Вышла во дворъ.

Длинноносый Гриша весело поздоровался, поднялся на крыльцо, посмотрѣлъ на нее черезъ оконное стекло, прищурилъ глаза и сдѣлалъ видъ, что закручиваетъ усы.

— Дуракъ! подумала Катя.

Вздохнула и пошла въ садъ.

За обѣдомъ Гриша вель себя шумно. Все время на падалъ на Варвару, усатую дѣвку, что она не умѣетъ служить.

— Ты бы замолчалъ, — сказала дядя Тема. — Смотри-ка носъ у тебя еще больше выросъ.

А задира Вася продекламировалъ нараспѣвъ:

— Носъ огромный, носъ ужасный,  
Ты вмѣстилъ въ свои концы  
И посадки, и деревни,  
И палаты, и дворцы.

— Такіе большіе парни и все ссорятся, — кричала тетка.



И, повернувшись къ тетѣ Женѣ, рассказала:

— Два года тому назадъ взяла ихъ съ собой во Псковъ Пусть, думаю, мальчики посмотрятъ древній городъ. Утромъ рано пошла по дѣламъ и говорю имъ: вы позвоните, велите кофе подать, а потомъ бѣгите, городъ осмотрите. Я къ обѣду вернусь.

Возвратилась въ два часа. Что такое? Шторы, какъ были, спущены, и оба въ постели лежатъ. — Что, говорю, съ вами? Чего вы лежите то? Кофе пили? — Нѣтъ. — Чего же вы?

— Да этотъ болванъ не хочетъ позвонить.

— А ты то отчего самъ не позвонишь?

— Да вотъ еще! Съ какой стати? Онъ будетъ лежать, а я изволь бѣгать, какъ мальчишка на побѣгушкахъ.

— А я съ какой стати обязанъ для него стараться?

Такъ вѣдь и пролежали два болвана до самаго обѣда.

---

Дни шли все такіе же шумные. Съ пріѣздомъ Гриши стало, пожалуй, еще больше криковъ и споровъ.

Вася все время считалъ себя чѣмъ то обиженнымъ и всѣхъ язвиль.

Какъ то за обѣдомъ дядя Тема, обожавшій въ молодости Александра Второго, показалъ Катѣ свои огромные золотые часы, подъ крышкой которыхъ была вставлена миниатюра императора и императрицы. И рассказалъ, какъ нарочно ѣздилъ въ Петербургъ, чтобы какъ нибудь по-видать государя.

— Небось на меня бы смотрѣть не поѣхаль, — обиженно проворчалъ Вася.

Гриша все больше и больше возмущался усатой Варварой.

— Когда она утромъ стучить въ мою дверь ланитами, у меня потомъ весь день нервы разстроены.

— Ха-ха! — визжалъ Вася. Ланитами! Онъ хочетъ сказать дланями.

-- Это не горничная, а мужикъ. Объявляю разъ навсегда: не желаю просыпаться, когда она меня будить. И баста.

— Это онъ злится, что Пашу отказали, — кричалъ Вася. Паша была хорошенькая.

Гриша вскочилъ, красный какъ свекла.

— Простите, — повернулся онъ къ родителямъ, указывая на Васю. Но сидѣть за однимъ столомъ съ этимъ вашимъ родственникомъ я не могу.

На Катю онъ не обращалъ никакого вниманія, Разъ только, встрѣтивъ ее у калитки съ книгой въ рукахъ спросилъ:

— Что изволите почитать?

И, не дожидаясь отвѣта, ушелъ.

А проходившая мимо Варвара, ощерившись какъ злая кошка, сказала, глядя Катѣ въ лицо поблѣвшими глазами:

— А питерская барышни видно тоже хорошихъ, любятъ.

Катя не поняла этихъ словъ, но глазъ Варвариныхъ испугалась.

Въ тотъ вечеръ, засидѣвшись долго съ тетей Женей, приготовлявшей печенье къ Артемьеву дню, къ именинамъ дяди Темы, вышла Катя во дворъ взглянуть на луну. Внизу, у освѣщеннаго окошка флигеля, увидѣла она Варвару. Варвара стояла на полѣнѣ, очевидно, нарочно ею принесенномъ, и смотрѣла въ окно.

Услышавъ Катины шаги, махнула рукой и зашептала:

— Иди-ка-тъ сюды.

Подхватила подъ руку, помогла встать на бревно.

— Вонъ, смотри.

Катя увидѣла Васю на диванчикѣ. Онъ спалъ. На

полу, на сѣнникѣ, лежалъ Гриша и, низко свѣсивъ голову, читалъ книгу, подсунувъ ее подъ свѣчку.

— Чего же вы смотрите? — удивлялась Катя.

— Тсс. . — цыкнула Варвара.

Лицо у нея было тупое, напряженное, ротъ полуоткрытъ внимательно и какъ бы недоумѣнно. Глаза устремлены недвижно.

Катя высвободила руку и ушла. Какая она странная!

Въ Артѣмьевъ день наѣхали гости, купцы, помѣщики. Пріѣхалъ игумень, огромный, широколобий, похожій на Васнецовскаго богатыря. Пріѣхалъ на бѣговыхъ дрожкахъ и за обѣдомъ говорилъ все о посѣвахъ, да о сѣнокосахъ, а дядя Тема хвалилъ его, какой онъ замѣчательный хозяинъ.

— Какія погоды стоятъ! — говорилъ игумень. Какіе луга! Какія поля! Июнь. Ъду, смотрю и словно раскрывается предо мною книга тайнъ несказанныхъ... Июнь.

Катѣ понравились слова о книгѣ. Она долго смотрѣла на игумена и ждала. Но онъ говорилъ уже только о покупкѣ роши и кормовыхъ травахъ

Вечеромъ, въ ситцевомъ халатикѣ сидѣла Катя передъ зеркаломъ, зажгла свѣчку, разсматривала свое худенькое веснущатое личико.

— Скучная я, — думала она. — Все то мнѣ скучно, все то скучно.

Вспомнилось обидѣвшее слово.

— Голубоватая. Правда — голубоватая.

Вздохнула.

— Завтра Ивановъ день. Въ монастырь поѣдемъ..

Въ домѣ еще не спали. Слышно было, какъ за стѣной въ биллиардной Гриша катаетъ шары.

Вдругъ дверь распахнулась и вихремъ влетѣла Варвара, красная, оскаленная, возбужденная.

— А ты чаво не спишь? Чаво ждешь... Чаво такого? А? Вотъ я тя уложу. Я ты живо уложу.

Она схватила Катю въ охапку и, быстро перебирая

пальцами по худенькимъ ребрышкамъ, щекотала и хохотала и приговаривала:

— Чаво не спишь? Чаво тѣкого не спишь?

Катя задыхалась, визжала, отбивалась, но сильныя руки держали ее, перебирали, поворачивали.

— Пусти! Я умру-у. Пусти...

Сердце колотилось, дыхание перехватывало, все тѣло кричало, билось и корчилось

И вдругъ, увидѣвъ ощеренные зубы Варвары, ея поблѣвшіе глаза, поняла, что та не шутить, и не играетъ, а мучаетъ, убиваетъ и остановиться не можетъ.

— Гриша! Гриша! — отчаяннымъ воплемъ закричала она.

И тотчасъ Варвара отпустила ее. Въ дверяхъ стоялъ Гриша.

— Пошла вонъ, дура. Что ты, съ ума сошла?

— Что ужъ и поиграть нельзя... — вяло протянула Варвара и вся словно опустилась — лицо, руки — и, пошатываясь, пошла изъ комнаты.

— Гриша! Гриша! — опять закричала Катя.

Она сама не понимала, отчего кричить. Какой то клубокъ давилъ горло и заставлялъ кричать съ визгомъ, съ хрипомъ все это послѣднее слово:

— Гриша!

И, визжа и дергая ногами, потянулась къ нему, ища защиты, обняла за шею и, прижавшись лицомъ къ его щекѣ, все повторяла: — Гриша, Гриша!

Онъ усадилъ ее на диванъ, всталъ рядомъ на колѣни, тихонько гладилъ плечи въ ситцевомъ халатикѣ.

Она взглянула ему въ лицо, увидѣла смущенные, растерянные глаза, и заплакала еще сильнѣе

— Ты добрый, Гриша. Ты добрый.

Гриша повернулъ голову, и, найдя губами эту крѣпко обнимавшую его тоненькую руку, робко поцѣловалъ на сгибѣ у локтя.

Катя притихла. Странное тепло Гришиныхъ губъ...



Она замерла и слушала, какъ тепло это поплыло подъ кожей, сладкимъ звономъ прозвенѣло въ ухахъ и тяжело наливъ вѣки закрыло ей глаза.

Тогда она сама приложила руку къ его губамъ, тѣмъ самымъ мѣстомъ на сгибѣ, и онъ снова поцѣловаль ее. И снова Катя слышала сладкій звонъ и тепло и блаженную тяжелую слабость, которая закрыла ей глаза.

— Вы, Катенька, не бойтесь, — прерывающимся голосомъ говорилъ Гриша. Она не посмѣеть вернуться. Если хотите — я посижу въ билліардной... закройте дверь на задвижку.

Лицо у него было доброе и виноватое. И поперекъ лба вспухнула жилка. И отъ виноватыхъ его глазъ стало почему то страшно.

— Идите, Гриша, идите!

Онъ испуганно взглянулъ на нее и всталъ.

— Идите!

Толкнула его къ двери. Щелкнула задвижкой.

— Боже мой! Боже мой! Какъ это все ужасно...

Подняла руку и осторожно дотронулась губами до того мѣста, гдѣ цѣловаль Гриша. Шелковистый, ванильный, теплый вкусъ...

И замерла, задрожала, застонала.

— О-о-о! Какъ же теперь жить? Господи, помоги мнѣ!

Свѣча на столѣ оплыла, догорѣла, колыхала черный огонь.

— Господи, помоги мнѣ! Грѣшная я.

Катя встала лицомъ къ темному квадрату образа и сложила руки.

— Отче нашъ, иже еси...

Это не тѣ слова... Не знала она словъ, какими можно сказать Богу то, чего не понимаешь, и просить того, чего не знаешь...

Крѣпко зажмуривъ глаза, крестилась:

— Господи, прости меня...

И опять казалось, что не тѣ слова...

Свѣча погасла, но отъ этого въ комнатѣ показалось свѣтлѣе.

Бѣлая ночь шла къ разсвѣту.

— Господи, Господи, — повторяла Катя и толкнула дверь въ садъ. Не смѣла пошевелиться. Боялась стукнуть каблукомъ, зашуршать платьемъ—такая несказанная голубая серебристая тишина была на землѣ. Такъ затихли и такъ молчали недвижныя пышныя купы деревьевъ, какъ молчать и затихнуть могутъ только живыя существа, чувствующія.

— Что здѣсь дѣлается? Что только здѣсь дѣлается? — въ какомъ то даже ужасѣ думала Катя. Ничего этого я не знала. Все словно изнемогало — и эти пышныя купы, и свѣтъ невидимый, и воздухъ недвижный, все переполнено было какой то чрезмѣрностью могучей и неодолимой и не познаваемой, для которой нѣтъ органа въ чувствахъ и слова на языкѣ человѣческомъ.

Тихая и все же слишкомъ неожиданно-громкая трель въ воздухѣ заставила ее вздрогнуть. Крупная, мелкая, невѣдомо откуда лилась, сыпалась, отскакивала серебряными горошинками... Оборвалась...

— Соловей?

И еще тише и напряженнѣе стало послѣ этого „ихъ“ голоса.

Да „они“ были всѣ вмѣстѣ, всѣ заодно. Только маленькое человѣческое существо, восхищенное до ужаса, было совсѣмъ чужое. Всѣ „они“ что то знали. Это маленькое человѣческое существо только думало.

— Июнь, — вспомнилась книга тайнъ несказанныхъ... Июнь...

И въ тоскѣ металась маленькая душа.

— Господи! Господи! Страшно на свѣтѣ Твоемъ. Какъ же быть мнѣ? И что оно, это, все это?

И все искала словъ, и все думала, что слова рѣшаютъ и успокоятъ.

Охватила руками худенькія плечи свои, словно не сама, словно хотѣла спасти, сохранить ввѣренное ей хрупкое тѣлце, и увести изъ хаоса охлынувшихъ его звѣриныхъ и божескихъ тайнъ.

И опустивъ голову, сказала въ покорномъ отчаяніи тѣ единственныя слова, которыя единственны для всѣхъ душъ и великихъ и малыхъ, и слѣпыхъ и мудрыхъ...

— Господи, — сказала — Имя Твое да святится... И да будетъ воля Твоя...

---

## Сердце Валькириі

Въ домѣ № 43 — событіе. Умеръ мосье Витру.

Многіе, которымъ эта печальная вѣсть сообщалась, не сразу понимали о комъ идетъ рѣчь: мосье Витру никогда при жизни своей, „мосье Витру“ не назывался.

Называли его „консьержкинъ мужъ“. А иногда и просто по сущности его персоны: „этотъ пьяница“, „этотъ бездѣльникъ“. Потому что говорили о немъ всегда недовольнымъ тономъ.

Поступковъ у мосье Витру никакихъ не было. Были только прѣступки. Не преступленія, конечно, а именно прѣступки.

Онъ забывалъ натопить печь центрального отопленія, или, наоборотъ, въ теплую погоду нажаривалъ такъ, что дышать было нечѣмъ. Онъ забывалъ подавать утреннюю почту, или путалъ газеты и письма, а потомъ тыкался по квартирамъ и отбиралъ въ уже распечатанномъ „по ошибкѣ“ видѣ.

Послѣ всѣхъ этихъ недоразумѣній забирался въ бистро и просиживалъ тамъ нѣсколько дней подрядъ.

— Puisqu'on est toujours mécontent!

Внѣшность у него была непочтенная. Квадратный,



красный. Выраженіе лица сконфуженное, потому что встрѣчался съ людьми или по дорогѣ въ бистро, или возвращаясь оттуда, а на этомъ пути торжествовать особенно нечего.

Всѣ жалѣли консьержку, красивую, сдержанно-привѣтливую съ нарядно сѣдѣющими волосами.

— Она на него работаетъ. Ужъ скорѣй бы умеръ, старый пьяница.

Она не жаловалась и не ссорилась съ нимъ, презирая его молча и брезгливо до отвращенія. Терпѣла его, какъ терпятъ шелудивую собаченку, которую противно прикончить.

И вотъ онъ заболѣлъ. Очень быстро изъ краснаго квадратнаго, обратился въ худощаваго, бѣлаго.

Сидѣлъ за дверью и уже не конфузился, а смотрѣлъ съ упрекомъ.

Потомъ слегъ.

— Теперь завалился хворать — осуждали его въ д. № 43,

— Получаетъ то, что заслужилъ, говорили въ домѣ № 45 — гдѣ помѣщалось бистро.

И вотъ онъ умеръ.

Умеръ на разсвѣтѣ, такъ что первыя узнали объ этомъ фамъ де менажъ и понесли вмѣстѣ съ молокомъ и булками по всѣмъ этажамъ.

Стали собираться группами около булочной, въ мясной, въ лавченкѣ итальянца, раскачивали сѣтками съ провизіей, ежились въ вязанныхъ платкахъ.

— Умеръ мужъ консьержки изъ 43 номера. Мосье Витру.

И силѣли по гусиному:

— Хххх-о, — выражая удивленіе и сочувствіе.

Пугала своей необычностью фраза:

— Мосье Витру умеръ.

Слова „мосье Витру“ вмѣсто „консьержкинъ пьяница“

приглашали признать его за человѣка, имѣющаго, какъ всѣ прочіе собственное свое имя, а не ругательное опредѣленіе проступковъ. И объ этомъ человѣкѣ сообщалось, что свершилъ онъ нѣчто значительное и даже торжественное: онъ умеръ.

— Хххх-о!

Вотъ на какой поступокъ онъ оказался способнымъ! Жильцы дома № 43 притихли. Осторожно прикрывали входную дверь и быстро шмыгали на лѣстницу, косясь на окно консьержки.

Актриса изъ третьяго этажа — фарсовая, но съ трагическимъ характеромъ, — всегда мучающаяся, что ее обошли ролью, и тутъ, въ смерти Витру, почувствовала себя какъ бы обойденной. Она очень бы удивилась, если бы ей кто нибудь объяснилъ, что ея подавленное настроеніе происходитъ отъ зависти къ консьержкиному мужу, что ей непріятно то центральное мѣсто въ умахъ жильцовъ дома № 43, которое ему сейчасъ отводится. Вечеромъ она сумѣла найти выходъ и разрядить нервы. Другъ принесъ ей корзину орхидей, и она велѣла сейчасъ же отнести цвѣты на гробъ бѣднаго мосье Витру.

И когда другъ, обиженно поджавъ губы, медленно несъ внизъ по лѣстницѣ пышный свой даръ, и встрѣчныя дамы благоговѣйно посторонились, актриса, переѣсившись черезъ перила, быстро и весело притопнула каблучками. Въ комнатѣ консьержки будутъ ахать, и сипѣть, и удивляться. Да, въ этой пьесѣ у нея нашлась красивая роль.

Сладкій, тошный запахъ хлора и фѳормалина поднялся по лѣстницѣ, вошелъ въ щели дверей, въ мысли, въ сны.

У старика изъ четвертаго этажа сдѣлался припадокъ астмы, и онъ заставилъ дочь до утра играть съ нимъ въ карты.

Актриса изъ третьяго долго не отпускала своего друга. Она предчувствовала, что скоро, очень скоро умереть и кротко улыбалась, закрывая глаза.

Двѣ старухи изъ перваго этажа до глубокой ночи бродили по комнатамъ и пугались другъ друга.

Дѣти во второмъ плакали и не позволяли гасить лампу.

Утромъ сынъ консьержки разнесъ по квартирамъ приглашеніе на похороны. Огромный листъ съ черной каймой. Онъ легъ на подушку старика съ астмой, на кружевной столикъ актрисы, на комодъ двухъ старухъ, на чайную скатерть во второмъ этажѣ, и всюду задрожали надъ нимъ рѣсницы, и остановились глаза.

Консьержка, мадамъ Витру, въ первый разъ увидѣла имя своего мужа торжественно напечатаннымъ, на почетномъ мѣстѣ. Первый разъ совершилъ онъ общепринятый буржуазный, вполне почтенный поступокъ, который возбуждалъ у всѣхъ интересъ и даже благоговѣніе. О немъ говорятъ, о немъ спрашиваютъ, о немъ думаютъ во всѣхъ пяти этажахъ, и въ домѣ рядомъ, и въ домѣ напротивъ, и въ булочной, и на углу.

Онъ — мосье Витру. Его женой сейчасъ быть почетно. Въ первый разъ она его, а не онъ ея. Она его вдова, а не онъ „мужъ консьержки“. И кюре, съ которымъ она говорила объ отпѣваніи, утѣшая, сказала: „не плачьте, но думайте о томъ, что скоро съ нимъ встрѣтитесь“. Этими словами и кюре признавалъ какъ бы заслугу мосье Витру, какъ бы высшее его въ сравненіи съ нею положеніе.

И тѣ нечестивыя думы, которыя раздражали ее, когда она поняла, что мужъ умираетъ — она отогнала прочь. Думы о томъ, что умираетъ онъ слишкомъ поздно, когда она уже стара, что будь это лѣтъ пятнадцать тому назадъ, когда вдовецъ-водопроводчикъ такъ сильно заинтересовался канализаціей въ ихъ домѣ, что по два раза въ день приходилъ провѣрять краны — тогда было бы дѣло другое. У водопроводчика теперь собственная мастерская въ Руанѣ...

Но послѣ смерти Витру, когда жизнь приняла такой

торжественный оборотъ, она забыла о водопроводчикѣ Запахъ хлора и формалина углублялся, расширился, гудѣлъ глубокимъ аккордомъ.

Теперь страшныя слова „мосье Витру умеръ“ жили, и вся обычная жизнь передъ ними умирала. У словъ этихъ былъ теперь звукъ, шестисложный, понижающійся въ тонѣ напѣвъ. У нихъ былъ цвѣтъ — широкая черная полоса на бѣломъ, и былъ запахъ — этотъ страшный, тягучій и сладкій духъ. Жильцы дома № 43 не хотѣли ѣсть, не могли спать, читать, разговаривать. Они умирали отъ звука, отъ цвѣта, отъ запаха „мосье Витру умеръ“.

Похороны вышли торжественныя. Жильцы купили въ складчину цвѣтовъ — два огромныхъ вѣнка изъ им-мортелей, намекавшихъ на земное безсмертіе, на незабвенность стараго консьержа. А на почетномъ мѣстѣ — въ головахъ гроба — ядовито-развратныя и жадныя дрожали орхидеи, существа изъ другого міра, пожаловавшія сюда, въ среду мѣщанскихъ розовыхъ гвоздикъ, какъ очаровательная дама-патронесса спускается въ подвалъ, чтобы навѣстить больную прачку.

Вдова Витру стояла впереди всѣхъ, но полуобернувшись къ гробу, черезъ траурную вуаль видѣла, какъ торжественно и печально слушаетъ толпа молящихся „De Profundis“.

И многіе плачутъ.

У старика изъ четвертаго этажа голова тряслась отрицательно, точно онъ не одобрялъ этой затѣи стараго консьержа. Ему хотѣлось спать, но онъ прилепился, потому что ему казалось, что онъ этимъ какъ то откупится отъ того противнаго и страшнаго, что вошло въ домъ.

Рядомъ горько плакала его дочь, думая о томъ, что уже никогда не выйдетъ замужъ, что старикъ загрызъ ее; а самъ живетъ въ полное свое удовольствіе, заставляетъ въ шесть часовъ утра варить кофе и выдумываетъ астму.

Плакала напудренная сиреневой пудрой актриса изъ

третьяго этажа. Она представляла себѣ, что она сама лежитъ въ гробу и какъ бы дублировала консьержа въ его великолѣпной центральной роли.

— Цвѣты и слезы, — шептала она. — Цвѣты и слезы, а намъ, покойникамъ, уже ничего не нужно.

Всплакнули старушонки изъ перваго этажа. Онѣ вообще бѣгали на всѣ похороны, потому что это было для нихъ самое интересное бытовое явленіе, такъ сказать — къ вопросу дня.

Вдова Витру видѣла всю эту печаль и благоговѣніе передъ ея мужемъ, слышала никому непонятныя, таинственныя и мудрыя латинскія слова, которыя говорилъ кюре ему, мосье Витру. И когда церковный швейцарь, дирижируя парадомъ стукнулъ булавой и сталъ медленно, очередью, пропускать присутствующихъ для выраженія соболѣзнованія, и десятки рукъ протянулись къ ней и къ ея коренастымъ сыновьямъ Пьеру и Жюлю, чтобы пожать ихъ руки въ черныхъ фильдекосовыхъ перчаткахъ, новыхъ и скрипучихъ, — она вдругъ заплакала, громко, искренно и горько.

Она плакала о своемъ мужѣ, величественномъ и гордомъ, увѣнчанномъ безсмертными цвѣтами, о „мосье Витру“, передъ которымъ всѣ такъ благоговѣйно склоняются и благодаря которому такъ почтительно жмутъ ея фильдекосовую руку. Она плакала о мосье Витру, гордилась имъ и любила его.

И когда, послѣ похоронъ, набившіеся въ ея тѣсную квартирку родственники отдыхали и закусывали со вздохами, но и съ аппетитомъ — что, моль, подѣлаешь? Онѣ ушелъ въ лучшій міръ, а мы должны все-таки питаться, чтобы подольше продержаться въ этомъ, худшемъ... Тогда вдова Витру, наливая кофе, сказала:

— Мой бѣдный Андре часто говаривалъ: „кофе надо пить очень горячій и съ коньякомъ“.

Изреченіе было не Богъ въсть какой мудрости, но

произнесла она его тѣмъ тономъ сдержаннаго пророческаго пафоса какимъ повторяють историческія слова великихъ людей.

И слушатели такъ и приняли его. Они многозначительно помолчали и глубоко вздохнули. И кому-то недослышавшему повторили съ благоговѣніемъ.

---

## Охота

П. А. Т.

Вечеромъ пришелъ изъ деревни синеглазый Антоніо Франческо — они на Корсикѣ всѣ, либо Антоніо, либо Франческо, а этотъ оба сразу — и сказалъ, что охоту намъ наладилъ.

Кромѣ меня и Дора, пойдутъ еще двое охотниковъ. Кабанъ выслѣженъ. Сборъ въ деревнѣ на слѣдующую ночь, въ 2 часа. Ослы и собаки приготовлены, провизіи брать на сутки.

— Хорошо — сказалъ Доръ. — Достаньте завтра ружья. Въ два часа мы придемъ.

И только! Точно его на блины приглашали. Нужно же было распросить въ чемъ итти, далеко ли ѣхать, спокойные ли ослы, свирѣпый ли кабанъ, тяжелое ли ружье.

Вѣдь это же, дѣйствительно, не пустякъ, такая исторія!

Сама я ни о чемъ спросить не рѣшалась, потому что такъ какъ то вышло, будто я и есть самый заправскій охотникъ. Я всю эту кашу и заварила, а Доръ только не протестовалъ.

— Вы, вѣдь, любите охоту? — спрашивала я.

— Когда то былъ страстнымъ охотникомъ — отвѣчалъ онъ нехотя. — Потомъ бросилъ.

— Почему?

— Такъ... Заяць на меня посмотрѣлъ. Подстрѣленный. Съ тѣхъ поръ я бросилъ.

— А какъ же завтра?

— Завтра?.. Ну, конечно, если кабанъ на меня выйдетъ — уложу его. Иначе, что же бы это за охота была.

— Вполнѣ васъ понимаю — отвѣчала я, мрачно сдвигая брови. — Я тоже уложу.

На душѣ у меня было скверно.

Что касается провизіи — это дѣло было для меня вполнѣ ясно и даже пріятно. Встать къ двумъ часамъ ночи было уже хуже. Все остальное сплошной мракъ.

Есть нѣчто, въ чемъ ни за что не признаюсь: боюсь лѣзть на осла. Какъ представляю себѣ, что онъ теплый и шевелится, — вѣдь ерунда это — а страшно. Если бы онъ еще не двигался, а вѣдь онъ зашевелитъ лопатками, а на лопаткахъ я.

И еще второй ужасъ — стрѣльба. Стрѣляла я только одинъ разъ въ жизни и вышло это очень странно. На Foire de Paris, зашла въ тиръ. Стрѣляли тамъ солдаты, человѣкъ семь и прескверно — все мимо.

Вдругъ хозяйка съ любезной улыбкой протянула ружье мнѣ. Я машинально взяла, приложила не къ тому плечу къ какому полагается, закрыла не тотъ глазъ, какой нужно и подъ громкое ржанье солдатъ высгрѣлила. И произошло нѣчто совершенно неожиданное: фигурка, въ которую я цѣлила, вдругъ затрещала и завертѣлась, точно кто то попалъ въ нее. Кто? Я растерянно оглянулась.

— Mais, c'est vous, madame! — выпучила на меня глаза хозяйка и снова суетъ мнѣ ружье.

Восторгу солдатъ не было предѣла. Они хлопали себя по бедрамъ. Одинъ даже присѣлъ и завертѣлся волчкомъ.

Я растерянная, испуганная, схватила ружье. Опять также по идиотски не тѣмъ бокомъ, не тѣмъ глазомъ.

— Бахъ! Бахъ! Бахъ!

Изъ пяти разъ попала четыре.

Солдаты притихли и въ благоговѣйномъ молчаніи, пропустили меня къ выходу.

Какъ все это вышло — сама не понимаю. И что это значитъ? Значить ли, что я умѣю стрѣлять?

Но рассказывать объ этой исторіи было бы неосторожно. Доръ можетъ сказать:

— Ахъ, такъ вотъ вы какой охотникъ! Нѣтъ, ужъ вы лучше посидите дома, съ вами еще въ бѣду попадешь.

Лучше помалкивать.

Но вотъ, какъ одѣться? Понятія не имѣю.

Спросила хитро:

— А вы въ чемъ пойдете?

Какъ будто о себѣ то уже все давно знаю, а только, молъ, въ немъ не увѣрена.

— Да хотя бы въ этомъ самомъ костюмѣ.

Удивительно! Бѣлые брюки, бѣлые башмаки, сѣній пиджакъ — пляжъ Ниццы и Біарицца Странно.

Тутъ ужъ я рискнула:

— А мнѣ, по вашему, что надѣть? Я, вѣдь, не знаю условій корсиканской охоты.

(Вотъ какъ тонко. Только, молъ, „корсиканской“ не знаю. Молодчина я!).

— Да надѣвайте, что не жалко.

Удивительно хладнокровный человѣкъ.

„Что не жалко“. Легко сказать!

Мнѣ, вотъ, прошлогодняго муслиноваго платья не жалко. Такъ, вѣдь, не надѣвать же его!

Дальше совѣтоваться было опасно. Вспомнила, къ счастью, что въ нашемъ же отелѣ живетъ бывшій учитель географіи, Зябликовъ, родная русская душа, въ сиреневомъ галстухѣ, Онъ все знаетъ.

— Тукъ-тукъ! Monsieur Ziablikoff

Ну, конечно, онъ все знаетъ. Необходима короткая клѣтчатая юбка.

— Милый, спасибо! спасибо! Никогда не забуду!

— Всегда къ вашимъ услугамъ.



Бѣгу въ деревню, покупаю въ лавченкѣ, гдѣ колбаса и уголь, и шоколадъ, и керосинъ, жуткую клѣтчатую „шотландку“, бѣгу домой и дрожа отъ усердія и спѣшки шью небывалую юбку.

— А какую шляпу?

Бѣгу къ Зябликову.

— Можно на кабана бѣлый фетръ?

Молодецъ Зябликовъ, все знаетъ. Фетръ, оказывается, можно, всякій кромѣ желтаго. Почему? Но все равно — спрашивать некогда. А серьги? Я привыкла къ серьгамъ.

— Cher Ziablikoff! Простите... Можно на кабана надѣть серьги?

Онъ не сразу понимаетъ и смотритъ съ ужасомъ.

\* \* \*

Спала плохо, да и некогда было. До трехъ часовъ все укорачивала юбку. Укорочу, сяду для примѣра, верхо́мъ на стулъ и опять укорачиваю.

Вышло очень не дурно. *Сопре élégante*. Немножко кривобокая, ну да въ заросляхъ незамѣтно.

Къ вечеру Антонио Франческо принесъ ружье. Ну и тяжесть!

Доръ пошелъ въ горы, намѣтилъ цѣль, отошелъ далеко-далеко и бахъ, бахъ, бахъ, — всади́лъ пять пуль одну въ одну.

— Ничего, не забылъ! А вы не попробуете?

Мнѣ пробовать не захотѣлось...

\* \* \*

Не отказаться ли, пока не поздно?

\* \* \*

Завела съ хозяйкой отеля разговоръ объ охотѣ. Думала, что она заохаетъ и станетъ меня отговаривать, скажетъ: „У васъ сегодня такой усталый видъ. Къ чему рисковать?“

А она застрекотала: „да, да, это очень интересно, это чудесно!“

Вотъ вѣдьма! Эгоистка!

\* \* \*

Въ два часа ночи постучали.

Ночь теплая, душная, а я дрожу. Чуть, чуть задремала одѣтая. Привидѣлся кабанъ, будто онъ намылилъ себѣ щеки и хочетъ бриться. Къ добру ли сонъ то этотъ?

Надѣла на поясъ кожаную сумку съ необходимыми для охоты припасами — шоколадъ, пудра и губная помада.

Антонио и Доръ уже на дорогѣ — двѣ тѣни — темная и бѣлая. Сомнительно, чтобы этотъ пляжный видъ подходилъ къ охотѣ.

Антонио несетъ мое ружье. Идемъ въ деревню.

Темно, жутковато. Я дѣлаю видъ, что я бывалый молодецъ и, посвистывая, шагаю впереди. Ночь душная, густозвѣздная, горы подошли близко, столпились всѣ около дороги. До деревни одинъ километръ и тамъ ждетъ меня осель. Стараюсь о немъ не думать.

Тихо на улицѣ. Темно. Только одно окошко свѣтится. И около него темныя тѣни, тихій говоръ. Это наши охотники. Ихъ оказалось цѣлыхъ пять. И къ чему такъ много? Это еще страшнѣе.

— Фррр!

И ослы здѣсь. Какъ они тихо стоятъ! Все такое зловѣщее.

Подошли ближе. Ословъ шесть, а насъ восемь чело-вѣкъ. Я спасена!

— Я пойду пѣшкомъ. Я очень люблю ходить пѣшкомъ.

— Это невозможно — спокойно говорить главный охотникъ.

Онъ въ широкополой шляпѣ, за спиной дуло ружья у пояса что то блеститъ. Съ нимъ не поспоришь.

— Больше километра вы не пройдете, потому что мы свернемъ въ горы, гдѣ придется карабкаться по камнямъ впотъмахъ. Влѣзайте на осла.

Его ведутъ ко мнѣ, этотъ живой эшафотъ. Онъ упирается, меня ведутъ къ нему. Я тоже упираюсь. Мы

не хотимъ другъ друга, но злые люди соединяють нашу судьбу.

— Гопъ!

— Господи, Господи! Начинается. Вотъ оно самое то ужасное!

Сѣдла нѣтъ. Вдоль ослиной спины три соединенныя между собой планки, надъ шейю рогатка для прикрѣпленія вьюковъ. Ни луки ни стремянъ... Куда дѣвать ноги? Антоно совѣтуетъ подобрать ихъ и упереть въ продольную планку, а за рогатку держаться. Вотъ ужась! Хорошо, что темно. Благословенна тьма и радостенъ мнѣ сумракъ! Напоминаетъ мнѣ все это что то, но что — не могу вспомнить.

Осель зашевелился.

— Доръ! Доръ! На помощь! Бандиты уморятъ меня!

\* \* \*

Небо темное, кружатся звѣзды. Прозрачной зеленью ледянымъ хризопрасомъ сквозить востокъ. А на черной, чернѣе неба, горѣ, пылаетъ костромъ утренняя звѣзда, обманная заря — Люциферъ.

Предъ моими глазами сказочный силуэтъ бандита. Широкая шляпа, ружье, вьюки, долбленая тыква съ водой.

Торопливо, но осторожно, несетъ его усердный осликъ. Впереди, подальше, чуть мрежетъ, поблескивая металломъ, другой такой же силуэтъ. Шорохъ камней, тихіе голоса. Отчего такъ тихо говорятъ? Разбудить здѣсь некого. Кабана боятся спугнуть? До него еще около двѣнадцати километровъ.

Тихо. Только когда чей нибудь осель споткнется и камни, щелкая, полетятъ куда то внизъ, громкій и словно испуганный окрикъ:

„Охэйо-о!“, прорветъ шопоть ночи.

Куда летятъ камни? Неужели тутъ рядомъ обрывъ?

Осель подо мной, какъ ладья въ бурю, то взмываетъ наверхъ, то вдругъ проваливается и торчатъ изъ бездны длинныя острыя уши и я сползаю къ нему на шею до самой рогатки. Руки ноютъ, ноги свело, въ сердцѣ тоска

и страхъ. Господи, Господи! А вѣдь это еще только начало.

— Доръ, вы идете или ѣдете?

— Иду-у.

— Отчего-о?

— Осла жаль.

Вотъ всѣ мы такіе! Осла жаль, а кабана прикончить и не задумаемся.

Измоталъ меня осель на смерть

— Тпру!

Я даже не сказала, а, вѣрнѣе, подумала это слово, а онъ уже остановился. Умница осель, красавецъ осель. Кубаремъ на землю. Разъ Доръ идетъ, такъ чего же тутъ. Я тоже охотникъ.

— Нужно ноги размять.

Бандиты ничего, не разсердились.

Одинъ пошелъ около меня, поддерживаетъ когда я спотыкаюсь и (откровенно говоря), подымаетъ, когда валюсь.

Свѣтаегъ, голубѣетъ. Справа дѣйствительно оказался обрывъ и синимъ дымомъ курится за острыми скалами море — глубоко-глубоко внизу.

А мы все подымаемся,

Думаю о кабанѣ. Онъ, навѣрное, спитъ въ своихъ корсиканскихъ „маки“. Одинъ и ничего не подозрѣваетъ. А тутъ восемь человѣкъ съ ружьями, ночью подкрадываются, говорятъ шопотомъ. Онъ, конечно, подлець, этотъ кабанъ, онъ портитъ огороды, но и наша роль не изъ красивыхъ — какіе то убійцы по призванію.

Вдругъ всѣ остановились, сбились въ кучу, совѣщаются. Какіе они всѣ маленькіе, щупленькіе эти корсиканцы. Доръ около нихъ кажется гигантомъ въ бѣлыхъ штанахъ.

Разглядѣла четырехъ собакъ, привязанныхъ попарно къ сѣдлу главнаго охотника. И еще какая то маленькая собаченка, на которую я спотыкаюсь.

Бандиты наши о чемъ то совѣщаются.

— Садитесь скорѣе — говоритъ мнѣ главный. — Надо торопиться. Усаживаетъ меня такъ спокойно и властно:

— Гопъ!

Точно я не дама, а ученый котъ.

И вотъ я снова на ослѣ. Теперь, когда свѣтаетъ, я вижу свою клѣтчатую юбку, какъ она торчитъ вѣеромъ на высоко согнутыхъ колѣняхъ. Что же это такое мнѣ напоминаетъ?

Главный бандитъ вскочилъ на осла, какъ то быстро по-разбойничьи, повернулъ его, свистнулъ на собакъ и поскакалъ куда то въ бокъ. За нимъ двинулся еще одинъ и побѣждалъ пѣшей.

— Онъ поставитъ посты — объяснилъ мнѣ Антонио Франческо.

Значитъ, кабанъ уже близко. Господи, Господи, что то будетъ!

Дорога ужасна. Узенькая тропинка, вся заваленная камнями. Съ двухъ сторонъ колючіе кусты рвутъ ноги, свистятъ по моей клѣтчатой юбкѣ. Ее то ни чѣмъ не проймешь, а чулки разодраны въ клочья. Осель прыгаетъ съ камня на камень, я все выше подбираю ноги, уцѣпилась руками за рогатку, мотаюсь, сползаю... вспомнила. Какой ужасъ! Въ такой самой юбкѣ, въ такой самой позѣ скакала въ циркѣ обезьяна на пуделѣ!

\* \* \*

Скоро взойдетъ солнце. Уже свѣтло.

Маленькая собачка плетется подъ ногами осла и подвизгиваетъ. Это она плачетъ, что главный охотникъ не взялъ ее вмѣстѣ съ важными собаками. Обидно.

Вдругъ она залаяла, затыкала и побѣжала въ кусты

— Кабанъ?

Одинъ изъ охотниковъ бросился за ней и быстро вернулся со смѣхомъ, качая въ рукѣ сѣрый комокъ.

— Ежъ! Моя жена его вечеромъ зажарить.

Онъ туго перевязалъ лапки ежа. Этотъ охотникъ самый неприятный. Большой, костистый, рыжій, похожъ на Горькаго. Будетъ жарить ежа.

— Скорѣе дальше! — кричитъ Антоніо — когда станетъ жарко, собаки не смогутъ итти по слѣду.

Отчего? Вѣрно нагрѣтыя травы слишкомъ сильно пахнутъ. Путають слѣдъ.

— Слѣзайте. Дальше ослы не пройдутъ.

Мы передъ крутой, почти отвѣсной тропинкой. Полземъ, цѣпляясь за камни. Позвякиваютъ ружья. Разбойники мы! Внизу плачетъ маленькая собачка. Ее окончательно разобидѣли: привязали къ ослу и оставили внизу. Мнѣ видно сверху, какъ осель пасется, не обращая на нее никакого вниманія, а она тащится за нимъ. Обидно.

\* \* \*

Вотъ мы наверху горы. Тамъ впереди лощина въ густыхъ заросляхъ. Тамъ кабанъ.

Вдали кричитъ кто то:

— А-га-га-га-га-а!

Что то хлопаеть.

— Это нашъ загонщикъ пугаетъ кабана. Далеко короткимъ, плачущимъ лаемъ затыкали собаки.

Я сижу одна на камнѣ, въ кустахъ. Налѣво бѣлѣеть Дорь. Еще дальше торчитъ изъ-за скалы ружье притаившагося бандита. Кабана будутъ гнать прямо на насъ.

Солнце вошло. Выкатилось сразу — желтое, яркое, мокрое. Начало свою долгую, лѣтнюю страду.

„Цѣлый день по голубой пустынѣ

Ходить солнце — одинокій царь“...

Разсвѣтъ всегда такъ неизъяснимо волнуетъ меня. Часъ разсвѣта — страшный часъ. Во всей природѣ — и въ живомъ существѣ особенно — вызываетъ онъ корневое глубокое потрясеніе. Люди умираютъ чаще всего на разсвѣтѣ. Ночь борется, стремясь остаться, овладѣть міромъ и каждый разъ, когда свѣтъ побѣждаетъ, когда раздирается черная завѣса и подымается пламенѣющій гнѣвомъ и радостью великій властелинъ, подъ пѣніе, звонъ и ликующіе клики своего царства, сколько бы мы ни глушили душу свою тусклостью „сознательной“ жизни, какая бы

блеклая и сухая она ни была, она не может не воспріять этихъ эманцій экстагического восторга, отъ которыхъ дрожить вселенная въ часъ разсвѣта.

Кусты и трава покрыты пленкой росы, точно сладости въ бакалейномъ магазинѣ слюдяной бумажкой. Роса блеститъ, дрожитъ, кипитъ подъ солнцемъ, шевелитъ стебельки. А дальше фиміамныя голубо-розовыя горы собираютъ послѣднюю дымку тумана съ раскрывшагося торжествующаго моря.

Восторгъ и благоговѣніе!

Вѣдь лучшія качества человѣческаго духа сравниваемъ мы всегда съ поконъ вѣку съ ними — съ моремъ, со скалами. „Неприклонный, какъ скала“, „могучій, какъ море“, „свободный, какъ вѣтеръ“ и „радостный и жаркій, какъ солнце“. А съ чѣмъ сравнишь ихъ? Ни вышаго, ни даже подобнаго нѣтъ.

Собаки тявкаютъ ближе. Гонять... Вдали выстрѣлъ.

Вотъ этотъ самый кабанъ, котораго по легкомыслію своему я пришла убить, онъ сейчасъ проснулся въ душистыхъ мокрыхъ кустахъ, хрюкнулъ, охнулъ, большой, корявый, пошелъ за сладкими корешками, завтракать. Блеститъ роса, пахучія колкія травы щекочутъ носъ. Ковырнетъ землю рыломъ, чавкнетъ, покрутитъ завитушкой хвоста.

Еще меньше, чѣмъ я, можетъ онъ думать о счастья чудесной земной жизни, но чувствуетъ то, вѣдь, не меньше и не иначе..

Что то треснуло, скрипнуло, засипѣло.

Я схватила ружье.

Изъ травы выскочило что то вродѣ смятой спичечной коробки, пошевелило на меня усиками и снова скакнуло бокомъ въ кусты. Цикада, что ли. Какую, должно быть, дикую картину я для нея представляла!

Сидитъ на глухой горѣ невиданное чудище въ клѣтчатой юбкѣ. У ногъ ружье — очевидно, разбойникъ, а

между тѣмъ, разливается — плачетъ отъ любви восторженной и нѣжной къ солнцу и кабану.

А зачѣмъ же схватилась за ружье? „Инстинктивно“  
Значить, инстинктъ-то, все-таки, вотъ гдѣ! Какое уродство!

— Прости меня, урода Твоего, Господи! Прости и благослови!

\* \* \*

Я видѣла, какъ Доръ поднялся и выстрѣлилъ куда то вбокъ, не туда, гдѣ лаяли собаки. Потомъ вылѣзъ на тропинку, прошелъ за скалу къ бандиту и оба подошли ко мнѣ.

— Можно подыматься. Кабана упустили, сказалъ онъ, глядя куда то въ сторону,

Потомъ долго объяснялъ бандиту, какъ собаки отогнали кабана въ заросли.

\* \* \*

У фонтана чуть капающаго тепловатой водой сдѣлали привалъ. Толковали о кабанѣ, какой онъ хитрый.

Антонио Франческо посмотрѣлъ на меня внимательно и сказалъ:

— А мнѣ кажется, что кто-то пожелалъ, чтобы кабанъ ушелъ. Онъ ему душою и помогъ.

Вотъ такъ бандитъ! Я, конечно, глазомъ не сморгнула, только уронила бутербродъ и пролила воду. А Доръ смѣялся.

\* \* \*

Какая страшная жара! Солнце не грѣетъ, а прямо жжетъ. Никогда не думала, что у него такая температура.

Молодой бандитъ увѣряетъ меня, что онъ ни капли не усталъ. Что онъ способенъ сейчасъ же спуститься къ морю — (ходу кубаремъ по скалѣ около часу), подняться — (на четверенькахъ два часа) — и потомъ еще всю ночь танцевать.

Дора уговорили сѣсть на осла. Но Доръ огромный, а оселъ маленькій и издали кажется, будто онъ ущемилъ осла и тащитъ между колѣнъ.



Послѣ полудня — снова приваль. Прижались къ скалѣ, пряча хоть голову въ тѣнь. Молодой бандитъ надвинулъ шляпу на носъ и мгновенно захрапѣлъ — вотъ тебѣ и танцы на всю ночь. „Горькій“ развалился на щебнѣ и тоже уснулъ. Маленькая собачка угодливо лизала его огромную растрескавшуюся ладонь. Ослы аппетитно хрустѣли релейникомъ. У одного изъ нихъ подъ сѣдломъ маленькій сѣрый комочекъ. Господи! Это ежъ! Какая у него страшная мордочка. Совсѣмъ человѣческое лицо. Черные глазки выпучены, изъ открытаго рта течетъ какая то жидкость. Мучается ежъ, издыхаетъ

— Доръ! Я не могу. Ежъ умираетъ.

Доръ сидитъ рядомъ на камнѣ. Косится на бандитовъ.

— Молчите! Я самъ весь день о немъ думаю...

— Доръ! Онъ съ утра на солнцѣ головой внизъ!

Доръ, Доръ, у васъ глаза стали совсѣмъ голубые — вы его жалѣете!

— Подождите!

Онъ засмѣялся дѣланнымъ смѣхомъ (очень скверно сдѣланнымъ) и сказалъ охотникамъ:

— Хе-хе! Дама очень хочетъ купить у васъ ежа.

Антонио отвѣчаетъ галантно:

— Не надо покупать. Мы съ радостью отдадимъ ей его, когда приѣдемъ.

Доръ хохочетъ еще насмѣшливѣе.

— Да нѣтъ, она хочетъ отпустить его на волю. Она его жалѣетъ. Хе-хе хе!

Но бандиты и не думаютъ смѣяться. Ежа отвязываютъ, перерѣзываютъ веревку.

Я беру его, дрожа отъ отвращенія за омертвѣлыя резиновыя лапки и отношу подальше въ кусты.

\* \* \*

Солнце палитъ, въ ушахъ звенитъ. Снова мотааетъ меня осель. „Горькій“ спросилъ озабоченно:

— Куда отнесли ежа?

Такъ я ему и скажу!

— Далеко въ горы.

— Надо было положить въ тѣнь, онъ бы скорѣе оправился.

Смотрю на него удивленно. Нѣтъ, онъ ужъ не такъ похожъ на Горькаго.

Доръ идетъ рядомъ.

— Доръ, скажите правду, отчего вы не въ ту сторону выстрѣлили?

Доръ отворачивается и что-то долго разглядываетъ на горизонтѣ.

— Ничего подобнаго, спокойно отвѣчаетъ онъ. Я просто промахнулся. Тотъ, рыжий, тоже промазалъ. Вы, вѣдь, слышали, какъ охотники говорили, что когда кабанъ въ заросляхъ...

— Доръ, я, вѣдь, видѣла!

— Значитъ, вамъ показалось.

\* \* \*

Зябликовъ ждалъ насъ у подъѣзда.

— Ну, что? Убили?

— Нѣтъ, нѣтъ — радостно кричу я. Охота была очень удачна: никого не убили!

---

## ЛУННЫЙ СВѢТЪ

И въ этотъ вечеръ, какъ всегда, когда у Лихиныхъ собирались гости, говорили про квартиры, про прислугу и про большевиковъ.

— А что ваша старушенція еще жива? — спросила унылая дама съ золотымъ зубомъ.

— Ничего, — улыбнулась хозяйка. — Хотя за послѣднее время сильно сдала.

— Надѣлаетъ она вамъ хлопотъ.

— Что-жъ подѣлаешь! Катерина Павловна платитъ за нее аккуратно.

— Да, Катерина Павловна дѣйствительно, — начала вторая гостя, усталая, съ злыми глазами.

Но хозяйская Ирочка, худосочный, нервный подростокъ, до сихъ поръ молча выковыривавшая изюмъ изъ сладкой булки, не дала ей договорить.

— Мама, мама, расскажи про католика. Мама.

Она вдругъ оживилась, заерзала, задергалась.

— Мама!

— Катерина Павловна — продолжала гостя, — святая женщина. Сама живетъ въ грязномъ отельчикѣ, а матери нанимаетъ хорошую комнату.

— Мама! Расскажи про католика! Это ужасно смѣшно. Мы такъ хохотали. Мама!

— Въ чемъ дѣло? — спросила съ золотымъ зубомъ.

— Да тутъ вышла забавная исторія, — начала хозяйка. — Анна Александровна, старушка наша, заснула днемъ и вдругъ...

— Мы не знали, что она спитъ, — прервала Ирочка — И вдругъ слышимъ она кричить: „Католикъ съ постельки свалился. Католикъ плачетъ“. Мы бѣжимъ, ничего не понимаемъ...

— Тише, Ирочка, она услышитъ.

— А пусть не подслушиваетъ. Она любитъ подслушивать, я ее два раза поймала... Мы бѣжимъ, ничего не понимаемъ. Мама думала, что какой-то аббатъ свалился Ха-ха-ха! А она сидитъ на постели и плачетъ и все бормочетъ про католика и ничего не понимаетъ.

— А потомъ оказалось, — вставила хозяйка, — что она Катерину Павловну называла Катуля и ей приснилось будто та еще маленькая Катуля. А намъ послышалось...

— Катерина Павловна, большая, толстая, — визжала Ирочка и вдругъ „съ постельки упала“. Ха-ха-ха!

Ирочка вся дергалась и въ горлѣ у нея пищало, какъ у просящей собаки.

— Бѣдная старушка, — сказала гостя съ злыми глазами; и видно было, что не столько она жалѣетъ старуху, сколько ей противна хозяйская дочка.

— Чего тамъ! — отвѣтила Ирочка. — Она презлющя. Обожаетъ свою чайную чашку. А я ей говорю: все равно она разобьется. А она со злости вся затряслась.

— А у нея свѣтлая комната? — спросила вдругъ гостя съ зубомъ.

— Очень свѣтлая. Хотите взглянуть? Пойдемте. Ничего, она, вѣдь не спитъ.

Лихина повела гостью въ конецъ корридора и постучала въ дверь.

За столомъ у лампы, звѣшанной сбоку темной тряпкой, сидѣла маленькая старушка въ халатикѣ. Она дрожащей корявой рукой схватила со стола толстый клубокъ съ какимъ то вязаньемъ и спицами и суетливо вскочила. Лицо у нея было совсѣмъ бѣлое и мелко сморщенное, словно обтянутсе смятой папирсной бумагой.

— Простите, Анна Александровна, — извинилась хозяйка. — Вотъ мадамъ Чижова хотѣла взглянуть на вашу комнату. Вы, вѣдь, разрѣшите?

Она говорила громко, какъ говорятъ съ дѣтьми или съ идиотами.

Старуха безпокойно встала.

— Очень милая комнатка, — похвалила гостя.

— А вотъ здѣсь окно. Хотя во дворъ, но смотрите сколько простору.

Она отвернула портьеру. И вдругъ старушка засуетилась, задохнулась

— Задерните, задерните.. Кто васъ просиль занавѣску трогать... Напустите луннаго свѣту, а потомъ возись съ нимъ... Ахъ, ты, Господи, да задерните же скорѣй... Заколите щелку булавкой, вѣдь, видите тамъ булавка была.. Ахъ, ты, Господи!

— Ну что вы, Анна Александровна, чудачка какая. Вѣдь я же задерну, чего вы?

— И не кричите такъ, я не глухая.

Старушонка совсѣмъ разволновалась и нижняя губа у нея такъ дрожала, что, повидимому, и подобрать ее было трудно.

— Ну, мы уходимъ, уходимъ. Спокойной ночи! И не волнуйтесь по пустякамъ Вамъ вредно.

— А она у васъ, дѣйствительно, того... — шептала гостя въ дверяхъ.

Старушка прислушиваясь къ удаляющимся шагамъ провѣрила — хорошо ли здернуто окно, потомъ положила вязанье на столъ и сѣла. Закрѣла глаза и долго медленно растирала грудь съ лѣвой стороны.

Подвинула клубокъ и сказала ему:

— Разволновали меня эти дуры. Скучно безъ чело-вѣческихъ голосовъ, а и придуть не обрадуешься.

Она говорила съ клубкомъ такъ же просто и свободно, какъ говорятъ съ человѣкомъ. Какъ всѣ люди, прожившіе долгую жизнь, она знала, что въ сущности все равно съ кѣмъ разговаривать — съ живымъ человѣкомъ, съ клубкомъ, со звѣздами, или съ кускомъ тесемки — они слушаютъ одинаково безразлично. Тесемка хоть не перебѣтъ и не затынетъ про свое ненужное, нудное.

Но, конечно, голоса слышать необходимо, такъ же какъ видѣть двигающіеся предметы, потому что въ этомъ жизнь. За голосами она ходитъ къ двери въ столовую. Тамъ всегда кто нибудь говорить. Она хитритъ: беретъ кружку, какъ будто въ кухню за кипяткомъ, а сама остановится у двери и слушаетъ. Словъ не разобрать — да это и не важно. Слова все тѣ же. Надоѣли главныя слова чело-вѣческой жизни: „сколько“ „дорого“, „больно“, „скучно“, „некогда“ и „зачѣмъ“. „Зачѣмъ“ чаще всего. Очень надоѣли слова. А голоса нужны для жизни. Чтобы сознавать, что живешь.

— А гдѣ чашечка?

Задохнулась, сердце забилося.

— Вотъ она... Чего я такъ пугаюсь сегодня.

Чашечка стояла тутъ же за лампой. Тоненькая, фарфоровая, нѣжный, синій рисуночекъ изображалъ на ней чудесную жизнь: во первыхъ, ручеекъ, кустарники негустые, не таящіе ни звѣря, ни гада. Черезъ ручеекъ мостикъ. На

берегу человѣчекъ ловить рыбу, а рядомъ съ нимъ, чтобы скучно не было — мальчикъ съ собачкой. А подальше ко-рова пьетъ, и тутъ же теленокъ. Тоже и ей не скучно. А по берегу, вверху дорожка къ домику. На крыльцѣ стоитъ женщина съ ребенкомъ, протянула руку, вѣрно кличетъ того, что рыбу ловить. А передъ домикомъ служанка рветъ съ дерева какіе то плоды и идетъ по дорожкѣ чело-вѣкъ съ корзинкой и веселая собачка лаетъ на него Въ корзинѣ какая нибудь радость, подарокъ, что-нибудь та-кое. И птицы летаютъ надъ домикомъ. И никого не ждеть ни болѣзнь, ни горе, ни старость — всегда они всѣ такіе и будутъ. И рыбка, которую ловятъ не погибнетъ. Вѣчна ихъ милая радость.

— Вотъ и отъ чашечки устаю. Отъ всего устаю.

Почудились шаги и она потянулась къ вязавью. Она уже давно, больше года не могла вязать, но не хотѣла въ этомъ признаться и притворялась будто работаетъ. Ни въ чемъ „такомъ“ нельзя признаваться. Когда узнаютъ, у нихъ въ глазахъ что-то забѣгаетъ и остановится. Что то поста-вить точку. Они все понимаютъ и отъ этого еще хуже.

Если бы было около нея маленькое существо, глу-пое и отъ нея зависимое, для котораго она была бы силь-ной и властной — все равно ребенокъ, котенокъ, птица или собака, ей было бы легче. Впрочемъ собаку нельзя Собаки видятъ невидимое. Уставится въ уголь и ощер-ится, либо завоюетъ. Съ собакой можетъ случиться жутко. Кошки непривыкливья, да и вообще съ живымъ суще-ствомъ уже теперь не сладишь. Силы нѣтъ. И живое мо-жетъ умереть.

— А ваша чашечка все равно разобьется — вдругъ пискнулъ изъ памяти голосъ хозяйской дѣвченки. Подлая! Злющая! Уродина будетъ, въ маменьку.

Опять закрыла глаза.

Надо думать о пріятномъ.

Завтра праздникъ. Зайдетъ Катуля.

Слово „Катуля“ вызвало образъ маленькой толстенькой дѣвочки, веселой и ласковой, въ пузатомъ передничкѣ. Вотъ. если бы она пришла такая. А придетъ пожилая, усталая, озбоченная, чужая.

— Ну что же мама, вы пожаловаться не можете, у васъ тепло и свѣтло.

— Я и не жалуюсь, другъ мой. Я очень тебѣ благодарна и за тепло и за свѣтъ.

У Катули лицо тяжелое, напудренное, подрумяненное. Этой пудрой борется Катуля со старостью, одиночествомъ и тоской. А если бы не убили ея мужа, она теперь съ мужемъ задумывалась бы — кто раньше умретъ: онъ или она. Въ этомъ трагедія любящихъ. Сначала мучаются — „кто первый разлюбить“. Потомъ, подъ старость — кто умретъ.

И у нея была трагедія — смерть мужа. Потомъ архитекторъ, который застрѣлился. Какъ его звали? Суета суеть. Попросту — суетня. Всю жизнь вертятся люди какъ собака за хвостомъ, передъ тѣмъ какъ улечься.

Есть великія задачи, конечно, Анна Александровна Столѣшина сама работала „на общественной нивѣ“, устраивала библіотеки „на разумныхъ началахъ“. Конечно, это пустяки и мелочь, но если даже самага Коперника посадили въ комнату въ концѣ коридора, большого астмой, въ семьдесятъ восемь лѣтъ, одного — небось тоже историческихъ словъ бы не произносилъ, а, пожалуй, тоже ходилъ бы съ чашечкой за кипяткомъ голоса послушать.

Хорошо, когда приходитъ докторъ. Докторъ говоритъ про простое, про виѣшнее, про астму. Ничего торжественнаго въ этомъ нѣтъ. Хуже всего — торжественное. Изъ за этого, если бы даже силы были, нельзя въ церковь ходить. Церковное пѣніе, возгласы, слова значенія великаго и безсмертнаго, отрываютъ отъ земной жизни — а много ли ей, старой, больной, нужно, чтобы оторваться... Надо бороться и держаться крѣпко. Слушать простое, земное,

житейское, смотрѣть на земную жизнь, на kota, на чашку, на людей, озабоченно жующихъ. Не надо думать о томъ, что съ земли уводить. Уведеть — не вернешься.

Да.. завтра праздникъ, вотъ о чемъ надо думать. О веселомъ. Придетъ Катюля. Она будетъ торопиться — ей вѣдь далеко домой, да и хочется немножко развлечься, труженница она.

— Я вамъ помѣшала отдыхать? Лежите, лежите, я въ другой разъ зайду.

Ее и удерживать грѣхъ. Пусть думаетъ, что старуха отдыхаетъ. Хотя, вѣдь, она этого и не думаетъ..

Пусть лучше придетъ докторъ. Дастъ какіе-нибудь порошки.

— Я больна и вотъ принимаю порошки. Все такъ просто и ясно. И молодые хворають.

Если бы чувствовать только боль, только болѣзнь, а не чувствовать „того“, чему и названія то нѣтъ.

— Того, чего я не-хо-чу. Не-хо-чу.

Не надо объ этомъ. Завтра праздникъ, придетъ Катюля. Да Катюли нѣтъ. Никого нѣтъ. А вотъ болѣзнь есть.

Огромное тяжелое сердце росло и раздвигало грудь. Холодный потъ залилъ въ складкахъ щекъ около носа.

— Господи!

Да — „Господи“... Старухи въ церковь ходять. „Религія утѣшаетъ“. Анна Александровна передовая женщина. Да и некогда было подумать объ этомъ. Ея поколѣніе объ этомъ не подумало.

— Воздуху мало. Окно бы открыть...

До окна не добратъся. Далеко до окна. И за нимъ, за окномъ — ужасъ. Тамъ огромное небо, на немъ острый силуэтъ чернаго храма и черныя вѣтки зимнихъ деревьевъ на мертвомъ лицѣ луны.

Сколько счастья, сколько пьянаго земного счастья нужно, чтобы взглянуть на эту тоску и не захлебнуться ею.



— Воздуху нѣтъ! Все равно...

Поднялась, долго стояла, держась за ручку кресла, боясь отдѣлиться, потомъ закачалась, пошла дернула раму и опустилась на полъ, опираясь спиной о косякъ.

— Все.

Всѣ силы ушли.

Огромное было небо. Черезъ тихія тучи, не двигаясь, бѣжала луна. И оттого, что бѣжала и не двигалась — бѣгъ ея чувствовался вѣчнымъ.

Анна Александровна опустила глаза, увидѣла свои позеленѣвшія руки, безобразныя съ пальцами скрюченными и заостренными. Нѣтъ, не безобразными. Здѣсь въ лунѣ они были тоже недвижимыя и тихія, долгой жизнью приготовленныя, чтобы уйти въ безсмертіе земли.

Она на минуту закрыла глаза и увидѣла себя сидящей за столомъ у лампы, завѣшанной темной тряпкой. И жалко стало себя, ту, у лампы.

— Чего она такъ боится? Окна? Видно предчувствовать... И за что она такъ цѣпляется, эта Анна Александровна? Ничего у нея нѣтъ.

Вспомнить бы ей что-нибудь...

Что то набѣжало на душу — теплое, ласковое, пушистое. Имя чье-нибудь. Можетъ быть просто мягкій пуховой платокъ... Кажется, былъ когда то..

Открыла глаза въ огромное лунное небо.

— Вотъ оно — торжественное жилище мое, покой мой. Такъ прими, Господи...

И назвала себя торжественно и просто —

— Рабу твою Анну.



## Катерина Петровна

Въ тѣ годы моего далекаго дѣтства проводили мы лѣто въ чудесной благословенной странѣ — въ Волынской губерніи, въ имѣніи моей матери.

Я была еще совсѣмъ мала, только что начала учиться грамотѣ, значить, было мнѣ около пяти лѣтъ.

Жились весело. Огромный домъ, большая семья.

Всегда чтонибудь новое и интересное: ктонибудь уѣзжаетъ, ктонибудь пріѣхалъ, ктонибудь обварился, когонибудь наказали.

То что у большихъ, у взрослыхъ, проскальзывало быстро, то у насъ въ дѣтской изживалось бурно, сложно, входило въ игры и въ сны, вплеталось цвѣтной нитью въ узоръ жизни, въ ея первую прочную основу, которую теперь съ такимъ искусствомъ и прилежаніемъ розыскиваютъ психоаналитики, считая важнѣйшей первопричиной многихъ безумій человѣческой души...

Помню потрясающую новость: въ деревнѣ, верстъ за шестьдесятъ отъ насъ бѣшенная собака искусила дѣтей.

Какъ изживали мы эту бѣшеную собаку!..

Ходили съ палками по столовой, выгоняли страшнаго звѣря изъ подъ буфета, запирали его въ мышеловку. Это была игра долгихъ дней и страхъ многихъ ночей.

— Чего вы, глупые, боитесь? — говорила нянька. — Вѣдь Лычевка далеко.

— Ахъ, нянюшка, бѣшенныя то они вѣдь бѣгають скоро!

И вошла эта собака въ мой сонъ и много разъ на продолженіи многихъ годовъ возвращалась. И всегда во снѣ этомъ бѣжала я по длинному коридору, а она гналась по пятамъ. Я знала, что у нея мутные глаза и изо рта бьетъ ядовитая пѣна... И вотъ послѣдняя дверь. Я изнемогаю, изъ послѣднихъ силъ захопываю ее, но звѣрь успѣлъ

просунуть морду. Я нажимаю на дверь еще, еще немножко и онъ будетъ раздавленъ. Но тутъ всегда самое ужасное: я опускаю голову и вдругъ вижу его глаза — тусклые, голубые, человѣческіе, съ такимъ отчаяніемъ, съ такимъ страданіемъ смотрящіе на меня, а изъ страшной раскрытой пасти бьетъ ядовитая желтая пѣна. Смотрятъ на меня глаза издыхающаго звѣря, и понимаю я, что не своей волей мерзокъ онъ и страшень, что въ отчаяніи и мукѣ исходитъ онъ ядовитой пѣной, и чувствую, какъ уходитъ отъ меня сила, и страхъ, и злоба, нечеловѣческая боль и жалость сжимаетъ сердце.

— Не могу раздавить тебя. Иди! — и отпускаю дверь.

Я всегда просыпаюсь въ эту минуту. И какъ знать — можетъ быть пробужденіе и было дверью открываемой передъ звѣриной пастью...

\* \* \*

Но главное и самое интересное событіе того года былъ разбойникъ, панъ Лозинскій.

Разбойникъ этотъ былъ легендарный, развѣзжалъ по всей губерніи на подводахъ, грабилъ богатыхъ и на-граждалъ бѣдныхъ, словомъ, все какъ легендарному разбойнику полагается. И никакъ не могли его поймать — ловкій былъ и смѣлый.

Объ этомъ панъ Лозинскомъ разговаривали и въ гостинной, и въ дѣвичьей, и на черномъ крыльцѣ, и, конечно, въ дѣтской, гдѣ мы съ крикомъ и визгомъ грабили другъ друга, скача верхомъ на стульяхъ.

Разъ ночью я проснулась отъ страшнаго грохота. Огромныя желѣзныя колеса, подпрыгивая, гремѣли по булыжнику двора.

— Разбойникъ!

И вдругъ вся комната озарилась огнемъ. И еще разъ

и еще. И опять загрехотали колеса тяжелыхъ разбойничьихъ подводъ.

Огонь — значить у него фореиторъ съ таганцомъ. Я таганецъ видала нѣсколько разъ. Когда вечеромъ уѣзжали отъ насъ гости, всегда снаряжался фореиторъ, къ сѣдлу котораго привѣшивалась зажженная плошка, чтобы освѣщать дорогу... Плошка качалась, вспыхивало красное чадное пламя, зловѣщія бѣжали тѣни по кустамъ и канавамъ.

Вотъ и разбойники съ таганцемъ.

Я не смѣла кликнуть няню. Какъ перейдетъ она ко мнѣ съ того конца дѣтской черезъ этотъ свѣтъ и грохотъ и разбойничій ужасъ?

Утромъ за чаемъ говорили, что была ночью сильная гроза. Толковали еще всякія премудрости о томъ, что шелкъ дурной проводникъ электричества.

— У кого есть что-нибудь шелковое, того никогда громомъ не убьетъ, — сказала тетка.

— Слава Богу, — подумалъ я. — Слава Богу, что у меня есть шелковая ленточка. Если даже въ лѣсъ заберусь, такъ и тамъ меня громомъ не убьетъ, потому что у няни въ коробочкѣ лежитъ моя ленточка..

Но всѣ эти ученія мудрости, какъ и весь разговоръ о грозѣ прошелъ спокойно. Впечатлѣніе страшной ночи осталось во мнѣ на всю жизнь не какъ гроза, а какъ разгульный и могучій грохотъ огромныхъ разбойничьихъ телѣгъ, скакавшихъ по булыжникамъ при вспышкахъ зловѣщаго таганца.

\* \* \*

Слухи о панѣ Лозинскомъ такъ и не смолкли. Рассказывали все новыя и новыя исторіи. Одна изъ нихъ очень всѣхъ расстрогала: разбойникъ далъ большое приданное бѣдной благородной сиротѣ.

Эта исторія привела въ какой то болѣзненный экстазъ нашу гувернантку, тихенькую, тоненькую Катерину Петровну.

Описать Катерину Петровну я не смогла бы. Обликъ ея ускользнулъ изъ моей памяти. Помню нѣжную руку съ темной родинкой около пульса. Вышитый воротничекъ. Ее саму не помню. Помню впечатлѣнiе отъ нея: робость, нѣжность, какъ бы тихій испугъ. Помню ея слова, что семь лѣтъ тому назадъ она кончила институтъ. Значить, ей было не больше двадцати пяти лѣтъ, по тогдашнему времени, — старая дѣва. Читала она маленькiя книжки съ коротенькими строчками — теперь понимаю, что это были стихи. Одну изъ нихъ въ голубомъ переплетѣ, она называла „Кернеръ“.

Вотъ эту тихую Катерину Петровну ужасно взбудоражила легенда о панѣ Лозинскомъ.

— Какъ вы думаете, нянюшка, — говорила она, — вѣдь онъ можетъ и къ намъ пріѣхать?

Няня успокаивала ее, но она не хотѣла вѣрить и настаивала на томъ, что можетъ.

— Вѣдь здѣсь есть и деньги и брилліанты. Онъ вѣдь все это знаетъ, — отчего же ему не пріѣхать?

И помню какъ то послѣ такого разговора взяла она меня къ себѣ на колѣни, гладила ласково мою голову и тихо умоляла:

— Адя, дѣтка, ты ребенокъ, у тебя душа чистая, и молитва твоя скорѣе до Бога дойдетъ. Адя! попроси Боженьку, чтобы панъ Лозинскiй къ намъ пріѣхалъ. Попросишь? Помолись вечеромъ...

И вечеромъ, стоя передъ строгимъ ликомъ Спаса Нерукотвореннаго, я крѣпко прижимала сложенные ладошки, не зная, какъ молиться о разбойникѣ. Я знала „Отче нашъ“, и „Богородицу“, и первую дѣтскую молитву: „Пошли Господи здоровья папѣ, мамѣ, братцамъ, сестрицамъ и мнѣ,

младенцу Надеждѣ“. Которая же изъ этихъ молитвъ годится для разбойника?

Я сокрушенно вздыхала, и сложивъ руку горсточкой, дотрагивалась ею до полу, какъ няня въ церкви. Все это было за разбойника, но словъ для него такъ и не нашла.

\* \* \*

Настала осень.

Мама со старшими братьями и сестрами уѣхала въ Москву. Повезла однихъ учиться, другихъ — двухъ старшихъ сестеръ — веселиться, или какъ тогда называлось, „вывозить въ свѣтъ“.

Остались въ деревнѣ зимовать мы, двѣ маленькія, а съ нами нянюшка, Катерина Петровна для наукъ и Эльвира Карловна, давно жившая въ домѣ, безбровая, курносая, завѣдывавшая „общей администраціей“.

Закрыли огромную холодную гостинную, перенесли изъ оранжереи лимонныя деревья и кактусы и разставили на зимовку въ передней и столовой. По вечерамъ на черномъ окнѣ классной комнаты отражался огонекъ висячей лампы и двѣ стриженыя дѣтскія головы и, блестя, шевелились спицы въ темныхъ скрюченныхъ пальцахъ.

А вдругъ это и не мы? А вдругъ это другія дѣти, тамъ за стекломъ, только днемъ мы ихъ видѣть не можемъ

Какъ то въ сумерки необычно быстрыми шагами вошелъ нашъ старый лакей Бартекъ и сказалъ Эльвирѣ Карловнѣ:

— Тамъ какой то баринъ не то человѣкъ, разобрать не могу, но вѣрнѣе что не человѣкъ.

Ушелъ и привелъ съ собой гостя.

Нечеловѣкъ былъ румяный, плотный, съ мокрыми усами, и блестящими веселыми глазами. Всѣмъ привѣтливо поклонился, (и мнѣ тоже), и попросилъ разрѣшенія пере-

ночевать. Остановился онъ въ деревнѣ въ корчмѣ. лошадей отпразилъ обратно, а утромъ за нимъ пришлютъ лошадей изъ Зозуленецъ, куда онъ ѣдетъ по дѣлу. Въ корчмѣ ночевать не хочетъ.

Эльвира Карловна согласилась, но какъ то довольно холодно. Катерина Петровна не обратила на гостя никакого вниманія. Тутъ же было рѣшено, что ночевать онъ будетъ во флигелѣ, гдѣ ему натомятъ комнату. Пригласили поужинать; онъ поблагодарилъ, все очень весело и привѣтливо, съ большимъ аппетитомъ поѣлъ, много и громко говорилъ, и сразу послѣ ужина отправился спать.

И вотъ тутъ то и началось.

Вошла ключница, приложила палецъ къ губамъ, заглянула за всѣ двери и сказала свистящимъ шопотомъ:

— Это онъ!

— Кто?

— Шшшш... Онъ. Панъ Лозинскій.

Нѣмая картина, которой такъ тщетно добивался когда то Гоголь, въ послѣднемъ актѣ своего „Ревизора“. Всѣ замерли. Сколько времени продержались бы мы такъ я не знаю, если бы не громкій ревъ сестры Лены, которую нянька схватила на руки.

Дверь распахнулась влетѣлъ Бартекъ:

— Поваръ говоритъ, что это навѣрное онъ самый и есть. Панъ Лозинскій. А то кто же?

— Господи! Что же намъ дѣлать? Няня уведите дѣтей!

Няня встала, держа Лену и лоя другой рукой мою руку, но я крѣпко уцѣпилась за Катерину Петровну, рѣшивъ дорого продать свою свободу.

Катерина Петровна обняла меня и прижала къ себѣ. Носикъ у нея покраснѣлъ, и въ широко открытыхъ глазахъ слезинки. Слезинки, а глаза испуганные и счастливые.

— Не понимаю, — говорила между тѣмъ Эльвира Карловна. — Что же онъ одинъ можетъ здѣсь сдѣлать!

— И очень просто, — отвѣчалъ Бартекъ. — Вотъ какъ всѣ заснутъ, онъ встанетъ и свистнетъ. А какъ свистнетъ, такъ сейчасъ его молодцы изъ корчмы прибѣгутъ да начнутъ.

— Такъ вѣдь до корчмы больше версты, какъ же они услышатъ?

Бартекъ усмѣхнулся и пожалъ плечами, показывая, что удивляется наивности вопроса. Вообще онъ велъ себя совсѣмъ не такъ, какъ всегда. Это былъ другой Бартекъ. Все было другое, „разбойное“.

— Это вы полагаете, что молодцы своего атамана не услышатъ? Ха! Они, разбойники, такъ свистятъ, что ажъ листья съ деревьевъ сыплются. Вотъ какъ! Стекла въ окнахъ лопаются, вотъ какъ! Глаза у человѣка изъ подо лбу выскакиваютъ, вотъ какъ! а вы говорите?

И съ каждымъ „вотъ какъ“ сильнѣе прижимала меня къ себѣ Катерина Петровна, и бантикъ на ея груди бился какъ живой.

— Надо охрану, — рѣшила Эльвира Карловна. — Ночной сторожъ ходитъ? Послать съ колотушкой и садовника. А во флигелѣ въ сѣняхъ пусть кучеръ ляжетъ и конюхъ.

— Конюха нельзя. Они лошадей сведутъ.

— Тогда пусть поваръ и водовозъ ложатся.

— Можно пастуха кликнуть.

— Да, и пастуху трешетку.

— Нѣтъ больше трешетокъ. Дадимъ сковороду, пусть въ нее бахаетъ. А я самъ на крыльцѣ сяду. Небойсь-Живо смекнетъ, что всѣ его раскусили. Можетъ и проне! сеть Господь.

Катерина Петровна вскочила и, все прижимая меня къ себѣ, бросилась въ свою комнату.

Тамъ выдвинула она сундучокъ и достала съ самага дна мятый, слежавшійся кисейный капотикъ съ голубыми лентами. Знаменитый капотикъ, о которомъ я



много разъ слышала, но никогда не видала. А слышала я, что когда выходила она изъ института, какъ разъ умерла ея бабушка и оставила ей въ приданое дутую браслетку и этотъ капотикъ, къ выпуску сшитый.

— Лежалъ, лежалъ, — шептала Катерина Петровна, расправляя руками зжелкшія оборочки. — И долежался...

Я скоро уснула. Но помню ночью свѣчу въ бѣлой тонкой рукѣ и складки пышной бѣлой кисеи. Помню шопоть няни:

— Да вы спите, вы не бойтесь, ваша комната въ сторонѣ, онъ туда не залѣзетъ.

И помню опять свѣчу. Она на подоконникѣ. И тонкая бѣлая фигура прильнула къ стеклу..

Рано утромъ за чаемъ я вижу ее, Катерину Петровну, въ этомъ удивительномъ кисейномъ нарядѣ и волосы у нея завиты локонами и стянуты голубой лентой

— А онъ... этотъ человѣкъ придетъ къ чаю? — прерывясь, словно плача, спрашиваетъ она, входя

Эльвира Карловна смѣется. Смѣется и Бартекъ.

— Охъ, какъ онъ хохоталъ! — рассказываетъ Бартекъ. — Такъ это вы, говорить, меня такъ хорошо стерегли? Чувствительно, говорить, благодарень.

— Онъ боялся въ корчмѣ ночевать, — вставляетъ Эльвира Карловна. — При немъ были большія деньги..

— Ухъ, до чего же онъ хохоталъ. Съ Зозуленецъ лошадей за нимъ прислали, такъ и ихній кучеръ хохоталъ. Ко-мэ-дія!

Я такъ заслушалась Бартека, что только послѣ чая замѣтила пустой стулъ Катерины Петровны.

Я нашла ее въ ея комнатѣ. Она забилась въ уголъ дивана, закуталась въ большой сѣрый платокъ, такая худенькая, точно больная.

Я подошла къ ней, но она не приласкала меня.

— Иди, дѣвочка, иди.

И я ушла...



И ничего больше не помню я о ней, Катеринѣ Петровнѣ.

Зыбкой, воздушной тѣнью колыхнулась въ воздухѣ моей жизни и сникла.

Нѣжная рука съ темной родинкой около пульса... кисейныя оборочки, ленты.. голубя книжечка „Кернеръ“, вы поэтической меланхоліей овѣявшія далекія мгновенія моихъ дней, можетъ быть, потому, много лѣтъ спустя, въ бурномъ и сумбурномъ потокѣ зазвенѣла и ваша тихая струя?

Безсмысленная, голубая, серебрянная печаль...

Сентиментальность..

Романтика..

## Мать

Благословенны страданія разлуки, и униженія, и обиды, и горькій восторгъ самоотреченія. Благословенна всякая любовь. И тысячи разъ благословенна та, самая жертвенная, самая обиженная, единственная въ оправданіе словъ апостольскихъ, „не ищущая своего“ — любовь материнская.

Любовь влюбленныхъ нарядна и празднична. Въ пурпурѣ и виссонѣ. Поетъ и пляшетъ. Она украшаетъ себя, чтобы овладѣть, взять, и чтобы сохранить взятое.

Любовь материнская отдаетъ свой пурпуръ и свой виссонъ.

Въ тусклыхъ будняхъ, въ лохмотьяхъ и рубищѣ подымается по высокимъ скаламъ, куда ведетъ ее тихая тѣнь съ огненнымъ вѣнчикомъ на головѣ, закрывающая бѣднымъ плащемъ грудь свою, пронзенную семью мечами.

И я хочу рассказать о благословенной любви, ог-

ромной, могучей, прекрасной, прозвучавшей въ нашемъ тускомъ мірѣ божественно звѣздной, не услышанной нами, симфоніей о любви мадамъ Бове, къ ея маленькому мальчику Полю.

\* \* \*

Въ представленіи любящаго — не замѣчали ли вы этого? — у любимаго есть всегда свой метафизическій возрастъ. Какой нибудь запечатлѣнный сердцемъ моментъ живетъ въ немъ вѣчно. Такъ, помню я, одна любящая жена, которую мужъ ожидалъ въ ресторанѣ, спросила у швейцара:

— Не проходилъ ли здѣсь сейчасъ худенькій брюнетъ съ черными усиками?

— Нѣтъ, — отвѣчалъ швейцаръ. — Старичекъ одинъ толстенькій сейчасъ пришелъ — лысый и бритый. Да вотъ онъ сидитъ.

Она обернулась и узнала своего мужа...

Для Шарлоты Бове ея Поль навсегда остался двухлѣтнимъ мальчикомъ, толстымъ, капризнымъ и беззащитнымъ. Онъ „маленькій мальчикъ Поль“. Глядя на кряжистаго, коренастаго молодого человѣка, съ квадратнымъ лицомъ на короткой шеѣ, она видѣла пухлое личико съ ямочками на щекахъ. Она мылитъ его кудрявую голову, онъ стоитъ, коротышъ обрубышекъ въ лоханкѣ. Онъ не плачетъ, а только кряхтитъ и, вытянувъ короткую рученку, со всей силы щиплетъ ей грудь. Ей больно. Маленькіе пальцы, съ острыми, какъ стеклышки, ноготками, впиваются крѣпко и давятъ и рвутъ кожу, а она смѣется отъ нѣжности и умиленія, что онъ, такой жалкій, защищается и не можетъ уничтожить ее, какъ бы хотѣлъ за то, что она его моетъ...

— Поль! Маленькій мальчикъ!

Мадамъ Бове молодость свою прожила въ Россіи. Была бонной. Вышла замужъ за француза-кассира. Похо-

ронила мужа и, послѣ революціи, привезла своего Поля, уже семнадцатилѣтняго юношу, въ Парижъ.

Продолжать образованіе Поль не захотѣлъ. Рѣшилъ заниматься дѣлами. Продавалъ въ рестораны русскую наливку и копченую рыбу. Мадамъ Бове вязала шарфы и кофты. Жили въ предмѣстьи Парижа и голодно, и холодно. Къ Полю ходили два товарища — французъ и русскій. Съѣдали все, что было въ домѣ, а иногда оставались и на ночь. Съ мадамъ Бове они никогда не разговаривали и даже какъ бы не замѣчали ея присутствія. Курили, играли въ карты. Въ разговорахъ часто упоминали слово „индюкъ“

— Поль прикажи „индюку“..!

— Ты совсѣмъ распустилъ „индюка“.

— Нельзя ли выдрать изъ индюка хоть два перышка на метро.

— Негодяй индюкъ. Набилъ себѣ брюхо каштанами, а о другихъ и не подумаетъ.

Она скоро поняла, что „индюкъ“ это ея прозвище, но не смѣла обидѣться. Она боялась мальчишекъ, боялась, что они уведутъ Поля изъ дому. Онъ постоянно грозился уйти, былъ требователенъ и грубъ и всегда всѣмъ недоволенъ.

— Лакай сама свой кофе — я этой мерзости пить не стану.

— Пополь, милый. Вѣдь я же тебѣ отдала весь сахаръ. Видишь — я сама пью совсѣмъ безъ сахара.

— Идіотское разсужденіе. Мой-то кофе отъ этого не сталъ слаще.

Пришла пора, когда мальчишки окончательно прогорѣли и засѣли у Поля прочно. Валялись, курили и отъ нечего дѣлать издѣвались надъ „индюкомъ“, совсѣмъ уже не стѣсняясь.

И вотъ на мадамъ Бове нашло вдохновеніе: она долго и усердно рылась въ старой картонкѣ, въ мѣшкахъ

и тряпкахъ, и разыскала тетрадку съ адресами. Затѣмъ пошла. Такъ началась новая эра ея жизни.

Она разыскала русскихъ эмигрантовъ, которыхъ знала когда то и выклянчивала по нѣсколько франковъ. Въ первый день она сразу получила цѣлыхъ сто и, задыхаясь отъ стыда и гордости, принесла деньги Полю. Радостно блеснувшіе глаза были ей упоительной наградой. Онъ даже обнялъ ее.

— Индюкъ, милый, да ты у меня молодець.

Она улыбалась, поджимая губы, чтобы не кричать, не визжать отъ чрезмѣрнаго счастья.

Съ этого дня она словно вошла въ компанію мальчишекъ. Даже держать себя стала какъ то молодцевато.

— Индюкъ раздобудетъ двадцать франковъ.

— Индюкъ молодчина.

Она чувствовала себя старшимъ товарищемъ, съ которымъ считаются, на котораго рассчитываютъ. За долгіе годы униженія она была вознаграждена признаніемъ. И работала на совѣсть. Уходила въ городъ съ утра. Выпивала, стоя, въ бистро, чашку кофе, часто безъ хлѣба, — это былъ ея обѣдъ, — и обходила свою кліентуру. Она занимала у самыхъ безнадежныхъ людей: у булочницы, которой была должна, у старой русской няньки, у бѣдной учительницы, у французскаго генерала, у портнихи, которая когда то въ первые парижскіе дни передѣлала ей платье, у русскаго писателя, у польскаго парикмахера. Не двадцать франковъ, такъ десять, не десять, такъ два. Все равно. Она уже не смущалась неласковымъ приѣмомъ. Она его и не замѣчала. Садилась и начинала безъ всякихъ предисловіій, нуднымъ, скрипучимъ голосомъ:

— Мальчику обѣщано мѣсто. Нужно переждать только девять дней. Но вѣдь нужно же чѣмъ нибудь питаться эти девять дней. Если считать только... восемь франковъ въ день, то и то...

— Черезъ четыре дня мальчику велѣно прійти на

службу. А въ чемъ онъ пойдетъ? Пальто заложено за тридцать, да проценты...

Или:

— Мальчикъ устроился великолѣпно. Надо только дотянуть до перваго жалованья, а консьержка ждать не соглашается...

Скоро всѣ издали узнавали ея сѣрую фигуру, шляпку съ фазаньимъ перышкомъ, по которому, какъ по желобу, стекалъ дождь на правое плечо, ея худыя пружинящія ноги на криво стоптанныхъ каблукахъ. Узнавали и перебѣгали на другую сторону. И если она не успѣвала догнать, то пряталась въ подъѣздъ, ждала пока жертва вернется.

Скромная и честная по природѣ, она не чувствовала ни стыда ни своей лжи. Она работала для „маленькаго мальчика“ — коротышки, капризнаго и беззащитнаго. Онъ выросъ, но вѣдь въ сущности, онъ тотъ же самый.

— Мой маленькій мальчикъ. Смотри, что тебѣ принесъ твой вѣрный индюкъ! — Семнадцать франковъ. Радъ?

Но „работа“ становилась все труднѣе. Жертвы все спокойнѣе и рѣзче отказывали и хладнокровно захлопывали дверь передъ носомъ. Заработки упали до пяти-шести франковъ въ день. И сразу круто измѣнилось ея, съ такимъ трудомъ завоеванное, домашнее положеніе. Мальчишки ушли. Поль пересталъ съ ней разговаривать. Потомъ сталъ пропадать по два, по три дня. Изъ отрывочныхъ словъ она поняла, что онъ служитъ въ какомъ-то гаражѣ... Потомъ разъ пришелъ послѣ долгой отлучки, принаряженный и припомаженный, и сказалъ, что женится на Эрнестинѣ, дочкѣ владѣльца гаража, но что новой роднѣ показываться незачѣмъ.

— Онъ стыдится меня, бѣдный мальчикъ! — подумала мадамъ Бове, и сердце ея сжалось печалью и нѣжностью.

— Да, мною не погордишься, Пополь, крошечный мой...

Пошли длинные мертвые дни въ тихой комнатѣ. И такъ было тихо, что она сама стала ходить на цыпочкахъ — былъ бы страшень стукъ, какъ шаги въ склепѣ — въ домѣ мертвыхъ.

Она получила печатную карточку о свадьбѣ Поля Бове съ мадемуазель Эрнестиной Клу.

Эрнестина.. Какое страшное, сердитое имя. Злое „р“. Она должна быть черная, съ длиннымъ носомъ. Некрасивая. А если красивая, то тѣмъ хуже, тѣмъ сильнѣе отниметъ маленькаго мальчика. Вотъ онъ даже не зашелъ передъ свадьбой. Вѣрно, та не пустила его, не хотѣла, чтобы мать благословила. Эрнестина.. Эрнестина..

Она разговаривала съ Эрнестиной, простила ей все за то, что мальчикъ ее полюбилъ, и за это же ее ненавидѣла. Особенно мучала мысль, что вѣдь онъ, навѣрное, съ ней разговариваетъ...

— Но вѣдь супружеское счастье рѣдко бываетъ длительно. Мальчикъ разочаруется и придетъ къ всему вѣрному индюку отдохнуть душой. Хоть на минутку да придетъ.

И она мечтала, какъ пятнадцатилѣтняя дѣвочка, представляла себѣ неожиданную катастрофу.

— Эрнестина утонула, сгорѣла, но маленькій не горюетъ, потому что уже разлюбилъ. Эрнестина нечаянно отравилась... нечаянно...

Она вздрогнула — такъ испугалъ ее свалившійся съ колѣнъ клубокъ.

Мертвые дни убивали. Она постарѣла, опустилась, стала неопрятна, забывала причесаться. Выходила разъ въ недѣлю, чтобы огнести работу и купить хлѣба, сыра, яицъ. Работала плохо, просчитывала петли, распарывала, приносила вязанье затрепанное и грязное. Такъ и жила въ своихъ мертвыхъ дняхъ.

И вотъ разъ утромъ постучали въ дверь настойчиво и твердо.

Нехотя открыла.

— Маленькій!

Зазвенѣла, запѣла, закружилась вся комната. Зашевелились занавѣски на окнахъ — дышать, дышать! — загудѣлъ кранъ, задребезжала крышка кофейника, запищали половицы, затрещалъ старый шкафъ, заскрипѣло соломенное кресло, расправляя сидѣнье и ручки... Живетъ, живетъ, все живетъ!

— Садись, маленькій, крошечный мальчикъ. Вотъ ты и пришелъ.

Онъ съ недоумѣніемъ и неудовольствіемъ смотритъ, какъ она плачетъ.

— Какая ты вся старая и грязная...

Его голосъ. Онъ говоритъ. Какая все таки чудесная штука — жизнь!

Пополь оставался недолго. Ничего опредѣленнаго не разскажалъ, но она сердцемъ узнала, что онъ Эрнестину не любить.

Узнала еще, что гаражистъ старъ и хвораегъ, что все дѣло перейдетъ къ Полю. Но это не главное. Главное для нея было то, что маленькій Эрнестину не любить.

\* \* \*

Пошли дни живые и мертвые.

Иногда такъ ясно чувствовалось, что мальчикъ сегодня придетъ. И тогда она причесывалась и наряжалась.

Можетъ быть онъ полюбилъ Эрнестину? Пусть. Она сама готова помочь ему внушить, что Эрнестина милая и хорошая. Только бы онъ былъ счастливъ. А вѣдь ей все равно, кто опустошилъ ея жизнь — хорошая или злая. Умерла ли она отъ меча или отъ укола грязной булавки. Та же смерть. Та же пустота...

Долго шли дни живые и мертвые. Потомъ оборвались: пріѣхалъ Польш. Одутый, блѣдный и растерянный.

— Они меня обманули, — сказалъ онъ.



— Эрнестина беременна и старикъ все оставитъ ребенка. А я буду всю жизнь на нихъ работать. Мать! Помоги мнѣ. Придумай что-нибудь.

Эрнестина беременна. Вотъ ужасъ, о которомъ она, мадамъ Бове, и думать не смѣла, Ребенокъ! Вѣдь ребенка можно такъ сильно полюбить... Вотъ это, вотъ это то, что страшнѣе всего. Это уведетъ Поля навсегда... Но надо отвѣтить ему. Онъ смотритъ злобно и жалобно и ждетъ.

— Чего же ты хочешь, маленькій мой? Можетъ быть, все будетъ хорошо, и ты полюбишь своего ребеночка.

Она потомъ часто видѣла во снѣ его дрожащее мелкой зыбью страшное яростью лицо.

А черезъ нѣсколько дней пришло отъ него письмо по-французски.

„Милая мама! Моя жена и я ѣдемъ завтра въ Шартръ Мы заѣдемъ за тобой. Цѣлую. Поль“.

Странное письмо. Точно по заказу.

Они пріѣхали вечеромъ.

— Мы переночуемъ у тебя, а утромъ поѣдемъ. Ты прокатишься.

Эрнестина — высокая, плоская, сѣрая, очень некрасивая. Жена мальчика... Мадамъ Бове хочетъ обнять еѣ и заплакать. Жена мальчика... Вотъ это тепло минутное въ груди своей она потомъ долго помнила. Все остальное, такое необычайное, небывалое, чудовищное и простое, легко зыбкимъ туманомъ на самое дно жизни.

Помнила — они ночевали, и во снѣ Эрнестина плакала. Рано утромъ выѣхали. Поль на рулѣ, она съ Эрнестиной рядомъ. Эрнестина справа.

Потомъ въ лѣсу Поль вдругъ остановилъ машину и слѣзъ. Лицо у него было испуганное и упрямое. мучительно напряженное. Онъ подошелъ съ правой стороны. Она хотѣла спросить, что случилось, но не посмѣла — ужасно страшно было его лицо, такъ страшно, что раз-

давшийся выстрѣлъ даже не испугалъ мадамъ Бове — этотъ выстрѣлъ она видѣла въ его лицѣ.

Потомъ онъ быстро вскочилъ на свое мѣсто и двинулъ автомобиль, а Эрнестина опустила голову и осѣла къ плечу мадамъ Бове. Ощущеніе этого тѣла и запахъ шерстяного шарфа Эрнестины мадамъ Бове помнила и чувствовала много, много дней.

Когда показались дома селенія, Поль повернулся къ ней и крикнулъ:

— Ее подстрѣлили бандиты, но мы не видали ихъ. Поняла?

И пустилъ машину.

\* \* \*

Когда ее вызывали, какъ свидѣтельницу, на допросъ, и она увидѣла арестанта съ лицомъ грубымъ и толстымъ на короткой шеѣ безъ воротничка, она не сразу узнала въ немъ сына.

— Это преступникъ, — подумала она съ отвращеніемъ.

Идіотская выдумка о бандитахъ была сразу разбита. Поль привлекался, какъ убійца.

— Но вѣдь онъ очень, очень любилъ свою жену, — тупо повторяла мадамъ Бове.

— Я не виновенъ, — жалобно сказалъ Поль.

Она повернула голову на этотъ голосъ и увидѣла его глаза. Его глаза спрашивали ее:

— Ну, что же ты?

Молили:

— Помоги! Придумай!

Она смотрѣла спокойно и думала съ отвращеніемъ:

— Преступникъ.

И вдругъ что-то дрогнуло у него въ губахъ, шевельнулось въ бровяхъ, чуть замѣтныя ямочки намѣтили щеки... Мальчикъ! Маленькій мальчикъ, это онъ... Это онъ!

И вдругъ, не помня себя, не зная, что дѣлаетъ, она рухнула на колѣни и закричала голосомъ всего своего тѣла:

— Прости меня, маленькій, прости меня!

И онъ отвѣтилъ громко:

— Мама, бѣдная.

И тихо прибавилъ:

— Я прощаю тебя.

Этого чудовищнаго „я прощаю тебя“ она уже не слышала. „Мама, бѣдная“ такимъ звономъ кимвальнымъ оглушило душу, что она потеряла сознание.

\* \* \*

Когда черезъ много дней ее везли изъ тюрьмы въ судъ, усиленный конвой охранялъ отъ „народнаго негодованія вѣдьму, убившую невѣстку изъ ревности къ сыну“

Она была страшна. Сухое лицо, острое, какъ сабля выглядывало изъ подъ шляпки со сломаннымъ, отслужившимъ службу фазаньимъ перомъ. Покрытое красными пятнами нервной экземы оно казалось пылающимъ. Сизыя губы улыбались, и въ черныхъ орбитахъ, дрожа, исходили жемчужнымъ свѣтомъ глаза.

Ревѣла толпа:

— Она смѣется, чудовище!

— На гильотину!

— Смерть старому верблюду!

— Смерть старому верблюду... — повторяли ея губы и улыбались блаженно.

Можетъ быть, она и не понимала въ полной мѣрѣ, что она повторяетъ. Даже навѣрное не понимала. Свѣтъ и звоны наполняли ея міръ. Огромная симфонія ея жизни, божественная и жестокая, разрѣшалась, наконецъ, аккордомъ, благодатнымъ и тихимъ.

— Такъ и должно было быть. Только такъ —

мудро и прекрасно. Вотъ онъ оцетъ, утоляющій жажду распятыхъ.

Благословенна любовь.

## Жена

— Надо работать, надо спѣшить... — думалъ Алексѣй Иванычъ, съ тупымъ любопытствомъ разглядывая свою рваную войлочную туфлю изъ которой сбоку вылѣзала красная суконка.

— Почему они внутрь вшили красную суконку. Для красоты, что-ли?.. О чемъ я думалъ? Ахъ, да: надо работать, надо спѣшить...

Въ дверь быстро коротко стукнули:

— Алексѣй! Завтракать!

Значитъ все утро уже прошло.. И ничего не сдѣлано. Ни-че-го!

Онъ вздохнулъ и вышелъ въ столовую. Сѣлъ за столъ. Не глядя видѣлъ короткія пухлыя руки, подвигавшія къ нему ножъ, вилку, хлѣбъ.

— Работалъ?

Вотъ оно самое неприятное.

— Какъ тебѣ сказать... Очень ужъ плохо спалъ сегодня.

— Не надо было вечеромъ кофе пить. Вѣдь знаешь, что не надо, а пьешь.

Она поставила передъ нимъ тарелку съ кускомъ жаренаго мяса, твердо, упруго блестящаго, какъ кусокъ футбольнаго мяча.

— Бифштексъ.

Алексѣй Иванычъ уставился на бифштексъ такъ же тупо, какъ только что смотрѣлъ на войлочную туфлю.

— Чего же ты? — спросила жена.

— Гм... Бифштексъ. А не найдетса ли у тебѣ чего нибудь другого? Вродѣ печенки, что ли.

— Печенки въ ротъ не берешь. Ёшь бифштексъ.

— Гм... Пожалуй это вѣрно. Только, видишь ли я говоря про печенку, подразумѣвалъ что нибудь вродѣ макаронъ или спаржи...

— Ёшь бифштексъ,—искусственно спокойно отвѣчала жена. — Ты любишь бифштексы.

Онъ покосился на нее. Увидѣлъ пухлыя, вялыя щеки, упорно сжатый ротъ и опущенные глаза. . Сердится.

Онъ вздохнулъ.

— Да? Люблю? Ну ладно. Если люблю, буду ёсть. Только отчего онъ такой голый и черный.. какъ негръ?

И сейчасъ же испуганно прибавилъ:

— Впрочемъ онъ отличный, отличный.

Пилилъ упругое мясо тупымъ желѣзнымъ ножемъ, смотрѣлъ на противный розовый сокъ, сочившійся изъ надрѣза, и, преодолевая тшноту, вяло думалъ:

— Надо работать. Какъ странно, какъ тяжело спить душа...

— Совѣтую тебѣ послѣ завтрака сразу сѣсть къ роялю и сочинять, — сказала Маня. Не забудь, что въ три часа придетъ французъ изъ газеты, а въ четыре ученикъ.

Алексѣй Иванычъ молчалъ.

Жена заговорила снова, и голосъ ея задрожалъ.

— Что... есть надежда что ты къ четвергу закончишь ноктюрнь?

Алексѣй Иванычъ покраснѣлъ.

— Ну, разумѣется. Времени бездна. Главное ты не волнуйся... И отчего ты ничего не ёшь?

— Не хочется. Я съ удовольствіемъ выпью кофе.

Она встала и подошла къ буфету, повернувшись къ мужу спиной. Потрогала на буфетѣ чашки и снова сѣла. Ясно было, что просто спрятала на минутку свое лицо.

Что это значить? А вѣдь, пожалуй, у нихъ просто денегъ нѣтъ...

— Я насильно ѣмъ бифштексъ, отъ котораго меня тошнитъ, а она сидитъ голодная, — подумаль онъ. — А если заговорю, начнетъ раздражаться. Да и нѣтъ силъ заговорить...

— Не забудь побриться, — говорила жена. И перелѣнься, нельзя же такъ. А сейчасъ иди и сочиняй. Помни, что нотный издатель велѣлъ къ четвергу, иначе ноты къ концерту не поспѣваютъ и тебѣ же будетъ хуже. Въ четвергъ, какъ пойдешь къ нему, заодно можешь тамъ сняться рядомъ въ фотографіи. Ты не сердись на меня. Надо же, чтобы ктонибудь обо всемъ этомъ подумаль!

Онъ поднялъ на нее глаза. Какая она усталая. Губы совсѣмъ голубыя... Надо сказать ей чтонибудь ласковое:

— Манюся! Какая у тебя славная кофточка! Очень тебѣ идетъ.

Она посмотрѣла на него даже съ какимъ то ужасомъ:

— Эта кофточка. Да я ее ношу второй годъ. Бумазейная рвань. Что ты ее сейчасъ только замѣтилъ, что ли?

— Нѣтъ... нѣтъ... я только хотѣлъ въ томъ смыслѣ, что ты вообще умѣешь одѣваться. Ну, я иду заниматься.

Въ салончикѣ было холодно и черный лакъ пианино блестѣлъ официально, жестоко и требовательно. Исчирканные листы нотной бумаги оползнями свисли съ крышки.

Алексѣй Ивановичъ заперъ поплотнѣе дверь, шумно двинулъ табуретомъ, взялъ нѣсколько совершенно къ дѣлу не относящихся аккордовъ и затихъ.

Вотъ здѣсь, въ этихъ пачкахъ его ноктюрнъ, который онъ долженъ закончить. Да. Закончить. Но сегодня онъ не сможетъ дотронуться до него. Не можетъ проиграть, услышать, войти въ этотъ міръ, который онъ, какъ Богъ, создалъ изъ ничего. Тамъ пѣніе звѣздъ и взлеты серебряныхъ крыльевъ и холодное небо, льющее

изъ золотой чаши лунное вино, мертвое и страстное.

Человѣкъ въ этотъ міръ входитъ трепетно, весь отрѣшенный, бѣлый, бѣлый, идетъ медленно, не помня, не зная, ощущую... И вотъ, есть моментъ когда звукъ, созвучіе, созвучное не только звукамъ, составляющимъ его, но и тому неизъяснимому мелодійному колебанію, которое „ноетъ“, поетъ въ самой неосознанной глубинѣ, — возьметъ и поведетъ и уведетъ .. Господи .

Я тебѣ не помѣшала?

Жена пріоткрыла дверь

— Я только хотѣла сказать, что всѣ ноты съ полу я положила сюда, навверхъ. Можетъ быть ты ихъ какъ разъ и ищешь...

Ушла.

Сердце заколотилось съ перебоями...

Да. Нужно работать

Если бы здѣсь былъ диванчикъ, можно было бы прилечь на минутку... Хотя она можетъ войти... Бѣдная Маня!

\* \* \*

Маня убрала посуду, вымыла въ кухнѣ полъ. Посмотрѣла въ ужасъ на свои руки.

— Ручки, ручки, гордость моя...

И тутъ же строго одернула себя:

— Все равно. Ничего не жаль. За все слава Богу, лишь бы онъ, Алеша...

Теперь значить нужно привести себя въ порядокъ. Придетъ французъ изъ газеты. Нужно, чтобы бесѣда появилась до концерта въ Лондонѣ, чтобы легче было получить авансъ. Да. Авансъ. Купить фракную рубашку, лакированные башмаки... Что бы онъ дѣлалъ безъ меня? Совсѣмъ несмышленишъ.

Вспомнила, какъ онъ похвалилъ ея грязную кофту, засмѣялась и тихое умиленное тепло обволокло душу.

— Маленькій ты мой, глупый, ты мой! Грубо я съ тобой сегодня говорила... Да что подѣлаешь. Измучилась я. Отъ бѣдности все это, маленькій мой. И пусть измучилась, пусть обликъ человѣческой потеряла, лишь бы тебѣ помочь хоть какъ нибудь.

Захогѣлось взглянуть на него.

Онъ сидѣлъ у піанино, низко опутивъ голову, закрывъ глаза.

— Алеша! Испугала? Чего ты такъ все горбишься. Ты и на эстрадѣ всегда согнешься, какъ карликъ. Пластронъ этотъ самый крахмальный, колесомъ выпретъ и коленкоръ наружу тянетъ. Сидишь какъ горбунъ. Смотри — Рахманиновъ какъ красиво сидитъ, а онъ длинный, ему труднѣе...

Алексѣй Иванычъ молча смотрѣлъ на нее непонимающими тусклыми глазами.

— Чего ты? Усталъ? А знаешь, по моему этотъ твой ноктюрнъ будетъ прямо замѣчательный. Я бы только на твоёмъ мѣстѣ играла его гораздо громче. Публика любитъ когда громко играютъ. Могущественно. И еще ужасно любить публика колокола. Громко на басахъ и колокола. Всѣ всегда потомъ въ антрактѣ хвалятъ. И еще хорошо если очень тоненькое піано.. Понимаешь — они всѣ считаютъ, что это очень трудно и что именно это надо хвалить. Ужъ ты мнѣ вѣрь. Я въ антрактахъ всѣ разговоры подслушиваю. Что тебѣ стоитъ — пусти имъ колокола.

Алексѣй Иванычъ все такъ же бессмысленно молчалъ.

Въ передней затрещалъ звонокъ.

— Боже мой! — вскочила Маня, — французъ пришель! Бѣги скорѣе въ спальню. Башмаки... Пиджакъ...

Вошелъ пріятный молодой французъ. Съ восторгомъ и благоговѣніемъ окинулъ взоромъ два рваныя кресла и піанино. Остановилъ взоръ на портретѣ Чайковскаго и, понизивъ голосъ, спросилъ:



— Достоевски?

Маня торжественно предложила сѣсть. Съла сама, заложивъ юбку складкой на масляномъ пятнѣ и прикрывъ шарфикомъ дыру на блузкѣ.

— Мужъ сейчасъ выйдетъ.

— О! О! маэстро, навѣрное, работаетъ, -- застоналъ французъ.

Но маэстро сейчасъ же выскочилъ.

— Такъ и не переодѣлся, — вздохнула Маня.

Опустила глаза и замерла: на одной ногѣ у маэстро былъ желтый башмакъ, на другой лопнувшій лакированный.

Алексѣй Ивановичъ сѣлъ и отъ смущенія очень непринужденно заболталъ лакированной ногой.

— Мосье много работаетъ? — дѣловито нахмуривъ бровь, спрашивалъ французъ.

Алексѣй Ивановичъ добродушно усмѣхнулся и сталъ чесать за ухомъ, готовясь къ откровенному признанію.

Но Маня не дала ему времени.

— Очень, очень много, — отвѣчала она. У насъ сейчасъ масса работы... Заказы изъ Вѣны, изъ Нью-Йорка..

Алексѣй Ивановичъ смотрѣлъ на нее въ ужасъ. Французъ безмятежно записывалъ въ книжечку.

— Масса работы, — дѣлая видъ, что не замѣчаетъ взгляда мужа, продолжала Маня. — Да, да.. и задумана большая опера... Къ ней приступятъ лѣтомъ, на югѣ... Тема? Современная.. Только это пока секретъ. Переговоры ведутся съ Америкой...

— Маня! — Что же это за брехня? — робко по-русски прошепталъ Алексѣй Ивановичъ. — Нельзя же такъ...

— Убѣдительно прошу не мѣшать. Всѣ такъ дѣлаютъ...

— Чьимъ ученикомъ считаетъ себя маэстро? — спрашивалъ французъ.

— Ничьимъ! — гордо отрѣзала Маня. — Онъ само-  
бытный. Онъ говорить: у меня учатся, а мнѣ учиться не  
у кого и не чему.

Алексѣй Ивановичъ набралъ воздуха, втянулъ губы  
и со стономъ выдулъ:

— У-ф-ф-фъ!

— Любимый авторъ мосье?

— Э э э... Дебюсси! — отчаянно неслась Маня.. —  
Дебюсси. Молчи и не перебивай. Для французовъ нужно,  
чтобы ты любилъ французскую музыку. Молчи.

— А изъ русскихъ авторовъ?

— Мусоргскій. Молчи. Французы больше всего ува-  
жаютъ Мусоргскаго.

\* \* \*

Сразу послѣ француза пришелъ ученикъ. Алексѣй  
Ивановичъ уныло смотрѣлъ на худощекаго мальчишку,  
унылаго, уши лопухомъ, и думалъ рѣшительно и горько:

— Я подлець. Если бы я былъ честнымъ человѣкомъ,  
я сегодня же пошелъ бы къ его маменькѣ и сказалъ бы  
маменька, вашъ сынъ безнадежно бездаренъ, поэтому счи-  
тайте, что я три раза въ недѣлю залѣзаю въ вашъ кар-  
манъ и краду у васъ по тридцать франковъ. Три раза...  
Разъ, два, три, разъ, два, три...

— Что это вы играете? — очнулся онъ, что за брех-  
ня! На сколько дѣлится?

— На четыре четверти, — уныло протянулъ ученикъ.

— Такъ зачѣмъ же вы считаете на три?

— Это вы считаете, — робко отвѣтилъ тотъ.

— Я? Форменное идиотство... Кстати, вы развѣ лю-  
бите музыку?

— Мама любитъ.

— Можетъ быть, лучше бы она сама и играла...

\* \* \*

Ушатый мальчикъ ушелъ. Хорошо бы прилечь... Но Манѣ будетъ обидно. Ей всегда кажется, что онъ валяется въ тѣ часы, когда могъ бы „творить“. А никогда не пойметъ, что именно въ тѣ часы, когда творить не можетъ...

— Маня, кажется, у меня этотъ урокъ сорвется. Мальчишка бездаренъ.

— Да тебѣ то что? Хочетъ учиться, такъ и пусть.

— Нѣтъ, я такъ не могу. Это мнѣ тяжело.

Она опустила голову, и онъ видѣлъ, какъ задрожало ея лицо.

— Маня! Крикнулъ онъ. Только не плачь! Голубчикъ! Я на все согласенъ, только не плачь.

Тогда она, видя, что все равно слезъ уже не спрячешь, громко охнувъ повалилась грудью на столъ и зарыдала.

— Тяжело! Ему тяжело!.. Мнѣ очень легко! Я молчу... я все отдала.. Развѣ я женщина? Развѣ я человѣкъ? Отойди отъ меня! Не смѣй до меня дотрагиваться... Не за себя мучаюсь, — за теб-бя-а! Вѣдь брошу тебя — на чердакъ сдохнешь! Уй-ди-и!

— Милая... Милая!.. мучился онъ. Топтался на мѣстѣ не зная что дѣлать...

— Милая... Ты успокойся. Ну, хорошо я уйду, если тебѣ мое присутствіе... и немножко пройдусь...

Она оттолкнула его обѣими руками, но когда онъ былъ уже на лѣстницѣ, она выбѣжала и свѣсившись черезъ перила прокричала:

— Надѣнь кашне! Ненавижу тебя... Не попади подъ трамвай.

\* \* \*

Былъ вечеръ ясный и радостный, не конецъ дня, а начало чудесной ночи.

Алексѣй Ивановичъ закинулъ голову и остановился.

— Умрешь на чердакѣ... — прошепталъ онъ, подумалъ и улыбнулся.

— Собственно говоря, такъ ли ужъ это плохо?

Онъ повернулъ лицо прямо къ закатному пламенно-золотому сумраку, вдругъ запѣвшему, загудѣвшему для тайнаго тайныхъ души его такимъ несказанно блаженнымъ созвучіемъ, что слезы восторга выступили на глазахъ его.

— Господи, Господи! Бѣдная ты моя, милая... Такъ ли ужъ это плохо?..

---

## Лавиза Ченъ

Прошли по землѣ страшные годы. Пронесли событія огромнаго міроваго значенія.

Почернѣла, осклизла земля отъ крови и дыма.

Но, если оторваться отъ нея, отъ земли нашей, подняться до Марса, до Урана, до планетоидовъ, еще дальше, еще выше въ Безымянное — не покажется ли оттуда весь ужасъ, весь хаосъ отчаянія нашихъ войнъ и революцій просто чѣмъ то въ родѣ сумбурной неразберихи неудачнаго хозяйственнаго предпріятія...

Въ ту весну, о которой я говорю, когда порозовѣли разсвѣтныя облака и сладострастно всей грудью застонали голуби подъ крышей надъ окошкомъ шестого этажа — произошло также событіе огромнаго міроваго значенія, но въ мірѣ нами не знаемомъ, закрытомъ отъ насъ столь же чудесно, какъ непостижимые міры запланетнаго пространства.

Вотъ въ эгомъ самомъ окошкѣ шестого этажа произошли катаклизмы, столкнулись свѣтила, дрогнула вселен-

ная, раскололся хаосъ, родилось солнце. Катя Петрова, ученица консерваторіи по классу пѣнія, сказала піанисту Евгенію Шеддеру слова библейской Руфи:

— Пойду за тобой, и твой Богъ будетъ моимъ Богомъ и твой народъ будетъ моимъ народомъ.

Но піанистъ Шеддеръ, кажется, этихъ словъ не слышалъ...

\* \* \*

Они познакомились на концертѣ. Вмѣстѣ вышли и онъ проводилъ ее домой, на другой день зашелъ самъ, безъ зова. Съ этого и началось.

Катя удивлялась, пугалась — почему онъ приходитъ. Не чувствовалось, что она ему понравилась. Онъ на нее не смотрѣлъ и ни о чемъ не спрашивалъ. Онъ все время говорилъ самъ и вдобавокъ о своей любви къ другой женщинѣ, къ какой то пѣвицѣ, Лавизѣ Чень, которой онъ аккомпанировалъ на концертахъ. О себѣ и о Лавизѣ Чень. О Катѣ Петровой, испуганной и покорной своей слушательницѣ, онъ не говорилъ ни слова.

Онъ рассказывалъ о талантѣ Лавизы Чень, еще больше о ея очарованіи, умѣніи нравиться, покорять и властвовать, говорилъ загадочно и поэтично.

— Она дала мнѣ только одно утро и одинъ день, и только одинъ вечеръ и одну ночь — но это путь солнца.

Катя Петрова пудрила свое узенькое личико и прикалывала бантикъ то къ плечу, то къ поясу (одинъ только бантикъ и былъ); но онъ ничего этого не видѣлъ. Онъ садился у окна, въ профиль. Его рѣзкій горбатый носъ четко вырисовывался на розовомъ небѣ бѣлой ночи. Катя ежилась на своей оттоманкѣ и слушала о чудесной любви къ чудесной другой женщинѣ, которая умѣла выбирать духи, цвѣты, умѣла одѣваться и внушать чудесную любовь.

У Кати былъ милый голосокъ, но ни разу не посмѣла она спѣть при Шеддерѣ.

— Когда поетъ Лавиза Ченъ, вы слышите неголосъ, а могучій зовъ изъ вѣчности въ вѣчность черезъ путь восторга и страсти.

Ну гдѣ жъ послѣ этого пѣть

Она узнала обо всѣхъ платьяхъ, обо всѣхъ аріяхъ и обо всѣхъ поклонникахъ Лавизы. Она узнала о ея привычкахъ, манерахъ, любимыхъ словахъ и улыбкахъ. А потомъ ставши женою Шеддера, о поцѣлуяхъ Лавизы, о ея родинкѣ на лѣвой груди, о ея любовныхъ капризахъ и ласкахъ.

Говоря о Лавизѣ, Шеддеръ иногда вставалъ съ мѣста, садился около Кати на оттоманку и задумчиво гладилъ ее по рукѣ. И это легкое прикосновеніе точно перебрасывало легкій хрустальный мостикъ, по которому, дрожа и холодѣя, переходила она въ неизъяснимый міръ чудесной любви, входила въ него этимъ своимъ трепетомъ и біеніемъ сердца и всей доселѣ неизвѣданной сладкой мукой любовнаго томленья.

И когда онъ приходилъ усталый (время было тяжелое и каждый шагъ былъ сложенъ и труденъ) и молчаливый, она сама говорила:

— Расскажите мнѣ о ней, о Лавизѣ Ченъ...

Случился такой вечеръ, что Шеддеръ не могъ придти. Улицы были почему то оцѣплены, кто то на кого то возсталъ, не то меньшевики. не то эсъ-эры — не все ли равно? — главное, что его на Катину улицу не пропустили.

На слѣдующій вечеръ, очевидно, эсъ-эры успокоились, и Шеддеръ пришелъ.

— Это очень неудобно, сказалъ онъ. Меня могутъ опять не пропустить. Можетъ быть, намъ лучше жить вмѣстѣ.

Она хотѣла что то отвѣтить, покраснѣла, задохнулась, и, прижавшись къ его плечу, заплакала.

Оба они молчали. Онъ отъ удивленія и нѣкоторой

растерянности, она — отъ того, что слушала, какъ душа ея говорить слова библейской Руфи:

— Пойду за тобой и твой Богъ да будетъ моимъ Богомъ, и твой народъ моимъ народомъ.

А на другой день они пошли въ комиссаріатъ, гдѣ подъ портретомъ Маркса, и незнакомаго еврея — кажется Троцкаго — худосочная дѣвица въ истрепанномъ кружевномъ платьѣ, очевидно когда то бывшемъ балльнымъ — обвѣнчала ихъ, приклепнувъ печатью паспорта.

А вечеромъ Евгенийъ Шеддеръ перевезъ въ комнату Кати Петровой свое имущество: рваный чемоданчикъ, ноты и одиннадцать портретовъ пѣвицы Лавизы Чень, всѣ въ рамкахъ.

У пѣвицы было довольно тяжелое лицо, съ рѣзко выдвинутымъ подбородкомъ и толстыя плечи.

— Ни одинъ изъ этихъ портретовъ не передаетъ ее. Ее передать можно только гениальной музыкой и развѣ еще... виртуозной лаской.

Но его ласки не были виртуозны. Катѣ иногда казалось, что торопливыми и точно разсѣянными поцѣлуями онъ старается поскорѣе отдѣлаться отъ чего то ненужнаго и лишняго. И никогда не говорилъ онъ ей ласковыхъ словъ и если чувствовалъ себя утомленно-разнѣженнымъ — отходилъ къ своему любимому мѣсту у окна и съ большимъ умилениемъ говорилъ о самомъ себѣ: о своемъ талантѣ, который людьми не оцѣненъ, о своемъ умѣ, о своемъ отцѣ, змѣчательномъ и гордомъ аптекарѣ, о женщинахъ, любившихъ его нечеловѣческой любовью и жестокой судьбѣ, не давшей ему того, на что онъ имѣлъ право.

И потомъ снова о Лавизѣ Чень...

Когда онъ засыпалъ, Катя садилась на его мѣсто у окна, слушала шорохъ просыпающихся голубей и сладострастные ихъ стоны, смотрѣла на розовѣющія облака ночи, и думала о мутной водѣ своего счастья.

Мутная вода. Такой воды кони не пьют...  
Пьютъ кроткія овцы да вьючныя животныя.

\* \* \*

Жизнь тамъ внизу на землѣ была тяжелая, хлопотливая и голодная.

Шеддеръ получилъ приглашеніе въ Одессу, играть въ оркестръ.

Уложили бѣдное свое тряпье и одиннадцать портретов Лавизы Чень и поѣхали.

Тамъ, въ Одессѣ, на какомъ то концертѣ Катя въ первый разъ услышала игру Шеддера. Онъ игралъ сухо, твердо, сердито. Слово бранился пальцами.

— Хорошая техника, сказалъ кто то.

Вечеромъ Шеддеръ долго хвалилъ передъ Катей свое исполненіе. Въ Одессѣ вообще онъ сталъ рѣже вспоминать о Лавизѣ Чень и больше говорилъ о себѣ. И послѣ каждаго такого разговора относился къ Катѣ презрительнѣе и холоднѣе.

Съ первой эвакуаціей они попали въ Константинополь и оттуда въ Берлинъ.

Шеддеръ службы не нашель. Жилъ случайными аккомпаниентами. Катя, знавшая кое-какъ нѣмецкій языкъ, поступила продавщицей въ книжный магазинъ. Тамъ неожиданно встрѣтилась съ бывшей подругой по консерваторіи.

— Почему же ты бросила пѣніе? — удивилась та.  
— У тебя прелестный голосъ. Могла бы устроиться здѣсь въ какомъ нибудь хорѣ.

Катя сама не понимала почему.

— Кажется, я потеряла голосъ, — растерянно отвѣтила она.

Но, вернувшись домой, вспомнила о разговорѣ и, подойдя къ піанино, на которомъ Шеддеръ разыгрывалъ свои сухія сердитыя упражненія, взяла нѣсколько тихихъ



аккордовъ и, подбирая по слуху, запѣла когда то любимый романсъ: „Мнѣ грустно потому, что я тебя люблю“.

И, слушая, какъ чудесно и полнозвучно всталъ ея голосъ на второй нотѣ, на длинномъ глубокомъ „у“, она вдохновенно и восторженно допѣла романсъ, какъ помнила, путая слова и повторяя мелодію и радуясь. И вдругъ, почувствовавъ что то страшное, остановилась и обернулась.

Страшное было — Шеддеръ, его лицо. Онъ стоялъ въ дверяхъ и смотрѣлъ въ злобномъ недоумѣніи.

— Что это? Что это значить? Ты поешь какъ прачка, перевираешь мелодію. Что это за аккомпаниментъ?

— Я не знала... что ты вернулся — бормотала Катя. Это все, что она могла сказать себѣ въ защиту.

Онъ пожалъ плечами.

— А если сосѣди слышали? Хорошенькое мнѣніе они составягъ о твоей культурности.

И, уходя, уже повернувшись спиной, прибавилъ:

— И глупо лѣзть въ закрытую дверь. Искусство не терпитъ посредственностей.

\* \* \*

Очень рѣдко вспоминалъ онъ о Лавизѣ Ченъ. И не жаловалась больше Катя розовому небу на мутную воду своего счастья. Счастья совсѣмъ не было.

Шеддеръ похудѣлъ, почернѣлъ — его дѣла были очень плохи. Жили на бѣдный заработокъ Кати. Почти не разговаривали. Самимъ странно было, почему живутъ вмѣстѣ въ одной комнатѣ унылая Катя и вѣчно раздраженный пианистъ.

Какъ то утромъ, когда Шеддеръ еще лежалъ въ постели, Катя, проходя черезъ комнату, задѣла его башмакъ.

Онъ привскочилъ на своей постели, побѣлѣвшій отъ злости, съ выкаченными глазами:

— Вы... вы задѣли мой башмакъ, дрожа и задыхаясь кричалъ онъ. Вы нарочно задѣли мой башмакъ!

Катя въ ужасѣ глядѣла на его бѣшенное лицо и смѣялась и плакала, и кусала себѣ руки, чтобы не слышали сосѣди ея изступленнаго визга, сдержать котораго она не могла.

А когда онъ ушелъ, она подошла къ камину и ласково и грустно стирала пыль съ одиннадцати портретовъ Лавизы Чень, точно убирала цвѣтами дорожную могилу.

— Странное мое счастье, ты, ты — Лавиза Чень.

И вотъ, случилось необычайное.

Въ воскресенье, когда, свободная отъ службы Катя была одна дома, вбѣжалъ Шеддеръ, восторженный и блѣдный.

— Катя, приготовь мнѣ скорѣе фракъ. Боже мой! Боже мой! Если бы ты знала! Я вернусь только ночью.

Онъ задыхался. И вдругъ, подойдя къ Катѣ, обнялъ ее, крѣпко прижалъ къ себѣ, какъ никогда, и сказалъ, закрывъ глаза:

— Лавиза здѣсь, Лавиза Чень.

И Катя обняла его голову и цѣловала глаза, какъ никогда.

— Катя, меня вызвалъ Дагмаровъ. Она въ Берлинѣ. Сегодня выступаетъ въ концертѣ и узнала, что я здѣсь. Сейчасъ онъ везетъ меня къ ней прорепетировать, и потомъ прямо вмѣстѣ въ концертъ. Катя! Лавиза Чень...

Онъ метался по комнатѣ, какъ пьяный, собиралъ ноты, одѣвался, смотрѣлся въ зеркало и видно было, что не видитъ себя.

— Лавиза Чень! Единственная въ мірѣ Кармень!

Когда онъ ушелъ, Катя подошла къ одиннадцати портретамъ и тихо спросила!

— Что же мнѣ теперь дѣлать?

Она не знала даже какъ быть съ концертомъ. Пойти? Какъ же она увидитъ Лавизу? Онъ, онъ Евгеній Шеддеръ, будетъ рядомъ съ ней на эстрадѣ. Запоетъ, зазвенитъ,

засверкаетъ весь тотъ чудесный міръ, одна тѣнь котораго была ея солнцемъ.

Отчего онъ не позвалъ ее на концертъ? Даже не сказалъ, гдѣ это... Надо пойти. Сѣсть гдѣнибудь подальше и оттуда глядѣть на нихъ, на обоихъ вмѣстѣ... видѣть ихъ вмѣстѣ въ ихъ чудесномъ мірѣ.

\* \* \*

Концертъ былъ въ небольшомъ залѣ и не очень блестящій по составу. Кромѣ Лавизы Ченъ Катя не знала ни одного имени въ программѣ.

Но... „Лавиза Ченъ, арія изъ оперы Кармень“.

Когда сверкнуло на эстрадѣ вышитое блестками платье, Катя закрыла глаза.

— „L'amour est un enfant de Bohême“, закричалъ рѣзкій надорванный голосъ.

Катя вздрогнула.

На эстрадѣ стояла коротенькая, очень толстая дама, съ большой тяжелой головой и, выпята впередъ подбородокъ и яро ворочая глаза, лихо раздѣльвала:

— „Qui n'a jamais, jamais connu de loi...“

— Chamais! — не выговаривала „j“.

— Chamais!

А у рояля черная скрюченная фигурка долбила крѣпкимъ носомъ по клавишамъ.

Дятель. Долбоносъ.

Кто тѣ въ публикѣ свистнулъ. Кто то засмѣялся. Зашептали, шикнули...

— Лавиза Ченъ! Лавиза Ченъ! Горькое счастье моей жизни. Лучшая въ мірѣ Кармень! Иди спать, старая дура!

Публика послѣднихъ рядовъ съ удивленіемъ оборачивалась на маленькую, блѣдную женщину, которая глядѣла на эстраду, сама съ собой разговаривала и горько плакала.

Въ антрактѣ, когда она пробиралась къ вѣшалкѣ, ее окликнулъ Шеддеръ.

— Куда же ты? Пойдемъ, я тебя познакомлю. Она все таки можетъ быть полезной, если ты захочешь заняться своимъ голосомъ.

Онъ былъ растерянный и ужасно жалкій.

— Ты слышала ее? . Она очень измѣнилась... Да...

Онъ криво усмѣхнулся и вдругъ погладилъ Катину руку.

Она уныло отвернулась.

Залебезилъ долбоносъ. Чего ему отъ меня нужно?

— Такъ пойдемъ къ ней?

Маленькій, кривоносый дятель.

— Нѣтъ, я устала. Оставьте меня! Только объ одномъ и прошу — оставьте.

И сжавшись, чтобы не дотронуться до него плечомъ, прошла къ выходу.

## Мара Деміа

Въ пограничномъ австрійскомъ городкѣ, въ шесть часовъ вечера, въ лучшей гостинницѣ этого городка, въ третьемъ этажѣ, на подоконникѣ выходящаго во дворъ окна сидѣла маленькая женщина, вся въ ленточкахъ и оборочкахъ, вся подкрашенная и раздушенная и просто и прямо, какъ древній Израиль, говорила съ Богомъ.

Правда, смѣшно?

Говорила не ритуальнымъ молитвеннымъ языкомъ, а какъ человѣкъ человѣку, въ отчаяніи безпредѣльномъ — спокойно и страшно.

— Ты видишь самъ, что я больше не могу. И ничего невозможнаго въ моемъ желаніи не было, потому что вѣдь такъ на свѣтѣ бываетъ. — Ты знаешь Самъ, что силы

мои кончились, все притворство мое знаешь, всю страшную работу и, что я надорвалась и больше не подымусь. Презрѣнная и пошлая моя жизнь, та, которую Ты мнѣ далъ, и то, отчего гибну суетно и пусто. Что же дѣлать? Одни тонуть въ великомъ морѣ, другіе въ лужѣ. Одни умирають отъ удара меча, другіе отъ укола грязной булавки. Но смерть одна. Не дай же мнѣ умереть! Дай мнѣ мое идиотское счастье. Я потомъ какъ-нибудь искуплю, если ужъ все такъ коммерчески надо ставить.. Кошунство? Нѣтъ.. нѣтъ. Насъ, вѣдь, никто не слышитъ. Это не кошунство. Это горе.

Молодую женщину звали по сценѣ Мара Деміа. Неопредѣленнаго, зависящаго отъ настроенія возраста, хорошенькая съ прелестнымъ голосомъ. Остановилась она въ этомъ городкѣ по дорогѣ въ Миланъ, куда была приглашена пѣть. Остановилась, чтобы встрѣтиться съ теноромъ Вилье, который любилъ ее и долженъ былъ отказаться отъ контракта на пять лѣтъ съ Америкой, чтобы ѣхать вмѣстѣ съ ней, съ любимой въ Миланъ, въ вѣчность.

Маленькая женщина была Марія Николаевна Демьянова, пожилая, одинокая, измученная, теряющая голосъ пѣвица, когда-то любительница, теперь профессионалка, истерически влюбившаяся въ красиваго тенора, который бросилъ ее и не пріѣхалъ за ней въ пограничный городокъ.

Мара Деміа съ утра наряжалась, душилась, красилась, ходила на вокзалъ по три раза къ тремъ поѣздамъ. Всю ночь въ постели дрожала Марія Николаевна и давно понимала то, чему по легкомыслію не вѣрила Мара съ ея духами и новенькимъ несесеромъ.

Напряженно улыбаясь, проходила она мимо швейцара. Она ждетъ друзей изъ Берлина, чтобы вмѣстѣ ѣхать дальше.

Вокзальный сторожъ, парень съ выбитымъ зубомъ, уже узнавалъ ее и кивалъ головой. Она пряталась отъ него такъ какъ онъ входилъ какимъ-то слагаемымъ въ этотъ вокзальный кошмаръ. Все-таки лучше, если хоть его не было.

Народъ изъ поѣздовъ вылѣзалъ сѣренькій — ну, кому въ такое захоlustье нужно? — съ котомками, корзинками, мѣшками. Никто не улыбался. Шли понуро, словно выполняли тяжелую работу, упорно и злобно.

Мара быстро взглядывала въ карманное зеркальце, встрѣчала въ немъ тяжелые горемъ глаза Маріи Николаевны и, задыхаясь отъ быстрыхъ ударовъ сердца провожала толпу. Шла за ней одна, отступя, какъ за покойникомъ.

— Телеграммы не было?

Швейцаръ спокойно ищетъ на полочкахъ подъ ключами.

— Нѣтъ.

Завтра утромъ надо уѣзжать. Черезъ два дня пѣтъ въ Миланѣ. Она еще успѣетъ встрѣтить семи-часовой утренній поѣздъ — послѣднюю свою надежду.

— Странная кровать въ этомъ номерѣ. Съ колонками, съ балдахинчикомъ, какая-то средневѣковая. Много, много сновъ, полу-сновъ видѣла Марія Николаевна подъ этимъ балдахинчикомъ за двѣ ночи. И въ снахъ всегда на вокзалѣ, но не встрѣчаетъ, а провожаетъ. И не можетъ въ толпѣ найти того, для кого пришла.

Она приготовила фразу:

— Я вѣдь ужасно любила васъ.

И сама плачетъ отъ этихъ словъ, ихъ красоты и печали.

И не можетъ найти того, кому должна ихъ сказать. Уходятъ поѣзда на огромныхъ черныхъ колесахъ.

Оборвется сонъ стономъ и другой такой же настаиваетъ его...

И вотъ вечеромъ второго дня сѣла маленькая женщина на подоконникъ и заговорила съ Богомъ, какъ древній Израиль. А потомъ услышала стукъ въ дверь. И шорохъ по полу — это подъ дверь подсунули листокъ. Телеграмму.

Марія Николаевна опустила на колѣни, перекрестилась, крѣпко прижимая пальцы ко лбу, до боли крѣпко и долго къ груди и плечамъ.

— Спаси и помилуй!

И сейчасъ же, устыдившись передъ Богомъ своей суетности, пояснила опять, какъ древній Израиль, просто и человѣчно:

— Ну что же мнѣ дѣлать, если въ этомъ мое все?

Телеграмма путанными французскими словами извѣщала о томъ, что отказаться отъ контракта impossible, о томъ, что теноръ сѣшно уѣзжаетъ, хотя désolé и вдобавокъ toujours fidèle. и напишетъ обо всемъ подробно.

Марья Николаевна долго читала слова глазами, потомъ стала понимать, читать душой. Самое страшное слово которое какъ ключъ повернулось и закрыло дверь наглухо, стояло наверху телеграммы, передъ цифрами словъ и часовъ. Это было — Nambourg. Названіе города, откуда послана телеграмма и откуда отплываютъ корабли.

Кончено.

Она тихо поднялась, оглядѣ ась. И вдругъ увидѣла на коврѣ, около стола, свою перчатку. И потому ли, что она была такая маленькая, бѣдная, или потому что сохраняла форму ея руки, и отъ этого, какъ бы близкая ей тѣлесно, но видъ этой перчатки такой невыносимой болью рассказалъ ей ея горе, что она кинулась къ кровати, охватила руками идиотскій рѣзной столбикъ, по-русски, по-бабьи, какъ бабы охватываютъ березку и, качаясь, причитываютъ, такъ и она, Марья Николаевна, качалась.

— Ой больно! Ой, больно мнѣ, больно!

И потомъ снова сидѣла на подоконникѣ и недоумѣнно и обстоятельно, словно рѣшая задачу, обдумывала.

— Значить такъ. Какъ же я буду умирать? Что я должна сдѣлать?

О томъ, что именно произошло, она думать не могла. Казалось, словно трамвай пролетѣлъ черезъ ея голову, со

звономъ, гуломъ и грохотомъ. Осталась пустота, тишина и необходимость выяснить, что теперь дѣлать.

Внизу, въ глухомъ колодецѣ двора что то звякнуло, закопошилось. И вдругъ рѣзкій, скрипучій, какъ сухое дерево, голосъ запѣлъ:

Das schönste Glück, das ich auf Erden hab  
Das ist ein' Rasenbank auf meiner Eltern Grab.

Лучшее счастье мое на землѣ — это дерновая скамья на могилѣ родителей.

Дребезжащія струны фальшивой арфы сопровождали скрипучую горечь словъ.

Марья Николаевна нагнулась.

Тамъ, внизу, словно раздавленный гадъ, охвативъ арфу корявыми лапами, шевелилась длинноносая горбунья. Она ползала по ржавымъ струнамъ, и горбъ ея кричалъ деревяннымъ нечеловѣческимъ голосомъ о предѣльной земной скорби.

Марья Николаевна закрыла глаза. Одну минуту замученной душѣ ея показалось, что заглянула она въ настоящій колодезь и увидѣла въ водѣ его свое отраженіе. И закричала, содрогнувшись:

— Не хочу!

Вскочила, осматривала свои руки, ноги, какъ чужіе. Ощупывала свое гибкое, легкое тѣло.

— Ужасъ какой! Не хочу! Не хочу!

Бросилась одѣваться, хватала вещи. Скорѣе уйти, ухватъ, разорвать проклятый кругъ. Она здорова. Она талантлива, она можетъ жить. Все-таки, можетъ.

Раскрыла сумку, достала деньги, не считая, не жалея, завязала въ платокъ, бросила въ окно тому уродливому, хрипящему ужасу.

Скорѣе! Скорѣе прочь!

На вокзалѣ ждалъ ее поѣздъ, медленный, товаропассажирскій. Съ досчатыми платформами, нагруженными



живыми телятами, для какой-то далекой бойни. Она быстро влѣзла въ пустой, грязный вагонъ, забила въ уголь и закрыла глаза.

— Я, въ сущности, очень, очень счастливая.

И долго тащилъ тихій, тяжелый поѣздъ жалко и покорно мычащихъ телятъ и блѣдный полутрупикъ Марьи Николаевны.

\* \* \*

— Наконецъ-то!

Горбунья вошла въ пивную и Францъ радостно поднялся ей навстрѣчу.

— Чего же такъ долго?

Горбунья смотритъ съ удовольствіемъ на здоровеннаго Франца, но отвѣчаетъ гордо.

— Нужно было спрятать деньги. Я сегодня очень много заработала.

Францъ взялъ ее за руку.

— Больше не будешь тянуть со свадьбой?

Горбунья гордо подняла острый носъ и молчала, какъ длинноклювая священная птица.

— Ты видѣлась со слесаремъ, — задыхаясь, спросилъ Францъ и схватилъ ее за руку.

Горбунья пожевала губами. Онъ ревновалъ, и это забавляло ее.

— Я все отлично понимаю, — съ горечью сказалъ Францъ и выпустилъ руку.

— Ну, нечего! — прикрикнула горбунья. — Закажи мнѣ пива.

Какъ женщина опытная, она понимала, что помучить возлюбленнаго слѣдуетъ, но слишкомъ накручивать пружинку не годится.

— Значитъ, ты все-таки любишь меня?

Носъ горбуньи поѣхалъ внизъ. Она усмѣхнулась.

— Doch!

## Счастье

Вчера былъ удивительный день. Вчера я два раза встрѣтила счастье.

И если бы оба раза счастье не увело мою душу, я можетъ быть, всю свою жизнь, улыбалась бы отъ радости.

Бываютъ, вы знаете, странныя человѣческія души. Онѣ „странныя“ отъ слова „странствовать“. Онѣ сродни душамъ индусскихъ іоговъ. Но іоги напряженіемъ воли могутъ уйти душой въ звѣря, въ бабочку, въ стебель цвѣтка. А наши простыя „странныя“ души уходятъ сами, безъ воли, безъ оккультной медитаціи. И никогда не знаете, что можетъ увести ее, и почему, и зачѣмъ, и когда она вернется.

Замѣтишь гдѣ нибудь въ метро скромнаго старичка въ пестромъ галстучкѣ и вдругъ подумаешь:

— А какой у него голосъ когда онъ говоритъ?

И вотъ началъ положено.

— Какъ онъ покупалъ этотъ галстучекъ? Вѣрно не сразу рѣшился... Подумалъ — не пестро ли.. Онъ женатъ... Кольцо... Онъ дома толковалъ объ убійствѣ ювелира — у него въ карманѣ газета. Старичекъ не сдѣлалъ карьеру. Выраженіе лица у него привычно унылое. Складки скорби лежатъ глубоко и покорно — давно легли. Онъ ѣдетъ домой — иначе бы читалъ свою газету, — но онъ уже успѣлъ ее прочесть. Дома ждетъ его супъ изъ овощей и строгая старуха.

Мутный супъ, мутные глаза. Можетъ быть у нихъ есть котъ или чижикъ, или сынъ гдѣ нибудь въ Мондорфъ, сынъ, жену котораго они ненавидятъ. Если котъ или чижикъ, тогда еще не все пропало... Но если...

— Отъ Марселя уже цѣлый мѣсяць нѣтъ писемъ.

— Это ея вліяніе.

— Она его разоритъ, и, конечно, потомъ броситъ.

Старуха дрожащей рукой въ буграхъ и веснушкахъ наливаетъ себѣ кисленькаго винца.

— Если бы я ее убила, судъ бы меня оправдалъ.

На буфетѣ гипсовые Амуръ и Психея. Рядомъ — пыльные тряпочные цвѣты.

Старикъ развязываетъ вотъ этотъ пестренькій галстучекъ и отстегиваетъ воротникъ.

На шеѣ у него подъ острымъ кадыкомъ зеленое пятно отъ мѣдной запонки.

Отдай мнѣ мою душу, старикъ! Не хочу идти за тобою!

Сегодня праздникъ. Я два раза встрѣтила счастье.

\* \* \*

Утромъ въ Булонскомъ лѣсу. Весеннее солнце припекаетъ. Какое то сумасшедшее дерево распушилось цѣлымъ букетомъ именинно-розовыхъ цвѣтовъ.

По дорожкамъ, вскользь оглядывая другъ друга гуляютъ нарядныя дамы и, въ однихъ пиджакахъ, щеголяя презрѣніемъ къ простудѣ, красуются кавалеры. Элегантныя амазонки въ рейтузахъ подобранныхъ въ тонъ лошадиной масти, гарцуютъ вдоль лужаекъ.

Къ длинной линіи, ожидающихъ своихъ господъ автомобилей подкатываетъ темно-синяя Испано-Сюиза. Шофферъ спрыгиваетъ, открываетъ дверцу и выпускаетъ пожилую парочку. А вслѣдъ за парочкой (вотъ тутъ то и началось!) кубаремъ выкатываются три мохнатыхъ собаки.

Выкатились и обезумѣли. Такой сумасшедшей радости бытія, такого раздирающаго душу восторга, такого захлестывающаго, заливающаго все существо черезъ голову, счастья — я никогда не видала.

Онѣ бросались съ разбѣга въ траву, купались въ ней, выряли, задыхались, тьякали короткимъ лисичьимъ, бессмысленнымъ лаемъ, вдругъ пускались бѣжать распластаннымъ галопомъ, прядая, какъ хищный звѣрь: падали,

катались, онѣ разрывались отъ счастья и не находили въ слабыхъ своихъ возможностяхъ — какъ выразить, какъ излить, какъ, наконецъ, освободиться отъ этой силы, слишкомъ могучей, почти смертельной для слабой земной твари.

И снова твѣкали особымъ безмысленнымъ звѣринымъ лаемъ. Если перевести его на человѣческую рѣчь то тоже не много бы вышло. Вышло бы! „О!“.

О, жизнь! О, лѣсъ! О, солнца лучъ!

О, сладкій духъ березы!“

Словомъ „О!“ и кончено! И поэтъ большаго высказать, какъ видите, не смогъ.

\* \* \*

Душа пошла за милыми звѣрями.

Не долго ихъ путь. Еще лѣтъ пятнадцать, а можетъ быть и меньше.

А тамъ старость. Заднія ноги начнутъ отставать, тянуться. Морда станетъ серьезная и унылая, точно позналъ песь суегу суеть и одумалъ тщегу земного. Вздохнетъ, ляжетъ. Въ каждомъ движеніи видно сознаніе своей слабости, ненужности, уродства.

Долгая дрема. И сны. Во снѣ отрывистый лай, и быстро шевелится передняя лапа. Ухъ, какъ она во снѣ шибко бѣжитъ! Не снится ли ему то утро, утро счастья въ Булонскомъ лѣсу?

Воспоминаній нѣтъ въ блаженной звѣриной старости. Дрема, и сны, и сновидѣнія.

Милые звѣри! Прщайте!

\* \* \*

Около моего „quartier“ — ярмарка.

Русскія горы, качели, карусели. Одна карусель совѣсьмъ маленькая, для маленькихъ дѣтей. Сидѣнья на ней

все въ видѣ колясочекъ и телѣжекъ, запряженныхъ зайцами, рыбами, пѣтухами.

Передъ этой каруселью долго стоялъ совсѣмъ маленький мальчикъ, лѣтъ двухъ-трехъ.

Коротышка, туго одѣтый, грибъ-боровичекъ. Стоялъ, смотрѣлъ и переживалъ. Былъ очень серьезень. Изрѣдка, вѣрно по ходу мыслей, чуть чуть перебиралъ губами и шевелилъ рукой. Вся душа ушла въ созерцаніе этого торжествующаго, роскошнаго видѣнія: въ звонѣ, въ трескѣ, въ золотомъ гулѣ плывутъ, чередуясь, взмываютъ качаясь, ласковые звѣри, веселыя птицы, удивленные рыбы, нарядныя пестрыя.

И среди нихъ живыя дѣти кружатся тоже, тоже въ звонѣ, въ гулѣ, въ радости невиданной и даже страшной.

Карусель замедлила ходъ, остановилась. Боровичекъ, предчувствуя событія, ухватился за юбку няньки И вотъ его подняли, понесли и посадили въ телѣжку. Мало того — въ его руку всунули вожжи. Это было, пожалуй, уже слишкомъ. А когда въ другую руку втиснули кнутикъ — то за бѣднаго боровичка стало немнѣшко жутко. Отъ наплыва необычайныхъ впечатлѣній онъ весь застылъ. Какъ сѣлъ съ неловко повернутой вбокъ головой — такъ и не шевелился. Недвижный взоръ уставился исподлобья въ одну точку. Лицо... что могло выражать это маленькое, дѣтское, пухлое личико, когда душа, которую оно должно было отразить, ушла въ тотъ хаосъ восторга и ужаса, гдѣ переживанія уже не классифицируются, въ экстазъ нездѣшной, а какъ бы загробной жизни.

И онъ такъ, не шевелясь и словно не дыша, проплылъ эти три, четыре божественныхъ круга и только когда его сняли и вытащили изъ закованной ручки кнутъ, онъ глубоко, съ дрожью вздохнулъ. Потомъ тихо и покорно заковылялъ домой. Раздавленный счастьемъ.

\* \* \*

И моя душа пошла за нимъ. Она видѣла, какъ онъ играетъ всегда поближе къ нянькѣ. Онъ не бѣгаетъ, онъ

больше копаетъ ямки. Мiръ для него всегда огромный и страшный. Слишкомъ огромный, потому что онъ измѣряетъ его и въ глубину.

Онъ подрастетъ и разочаруется въ дружбѣ. Въ большомъ школьномъ коридорѣ будетъ стоять у окна одинъ, съ застывшимъ лицомъ, и смотрѣть исподлобья вслѣдъ ушедшему невѣрному другу.

Потомъ онъ полюбитъ. Испугается, замучается. Шея къ тому времени у него подрастетъ и онъ сможетъ закинуть голову, когда будетъ смотрѣть на торжественное и роскошное видѣнiе своей любви.

Онъ будетъ очень смѣшонъ. Тонкій слой пудры Коти и румявъ Institut de Beauté номеръ пятый — онъ станетъ измѣрять въ глубину. И кромѣ того, онъ изъ тѣхъ, которые непременно проливаютъ красное вино на платье любимой женщины...

Все равно. Онъ задохнется отъ счастья и женится.

Закружатся рыбы, птицы, звѣри. Ударятъ въ сердце лучи и звоны.

Онъ не повѣритъ ни сплетнямъ, ни анонимнымъ письмамъ.

Потомъ, когда его снимутъ съ карусели, онъ вберетъ голову въ плечи, маленькiй боровичекъ, и поплетется куда-то „къ себѣ“, раздавленный, одинъ.

А вѣдь ему давали въ руки и кнутикъ и вожжи. Только онъ ничего не смѣлъ. Онъ мѣрилъ въ глубину и задохнулся.

\* \* \*

Моя душа долго провожала его.  
И какъ она устала, какъ устала!



## Волчекъ

И. Е. РѢпину.

Покупательницы такъ сдавили Неплодова, что онъ какъ прижался къ ящику съ заводными игрушками, такъ и стоялъ — ни впередъ, ни назадъ.

Изъ ящика торчали жестяныя ножки, колесики, ключики, шарики.

— Какое множество наготовлено! Неужто все это раскупятъ? А если не раскупятъ? Разореніе, банкротство, бѣда.

Чья то рука протянулась къ ящику, пошарила и вытащила блестящее круглое, такое знакомсе...

— Волчекъ!

Сколько лѣтъ не видалъ!

Напирающія дамы продвинули Неплодова впередъ, и онъ увидѣлъ, какъ быстрыя руки продавщицы накрутили пружину волчка, какъ онъ звякнулъ, стукнулъ о прилавокъ, зажужжалъ, запѣлъ и закружился воздушнымъ, радужнымъ, пѣвучимъ вихремъ.

— А-ахъ!

Волчекъ зачаровалъ Неплодова. Онъ засмѣялся, оглянулся на сосѣдей — смѣются ли они тоже.

Волчекъ описалъ послѣдній медленный полукругъ, поскакалъ бокомъ и упалъ.

— Ишь! Пока кружился — держался и даже пѣлъ. Какъ остановился — такъ все и кончено.

Онъ взялъ волчекъ изъ рукъ продавщицы, накрутилъ пружинку и пустилъ. Какъ онъ радостно прыгнулъ на свою острую тонкую ножку, закачался, запѣлъ! Золотые, зеленые, синіе круги разливаются въ воздухъ, дрожать, жужжать, играютъ. Онъ схватилъ игрушку и она забила въ рукъ, зажужжала живой пчелой.

— Сколько?

Шелъ и улыбался и качалъ головой.

— Вздоръ какой-то. Точно никогда волчковъ не видалъ! Прямо навожденіе. Дѣти большія — куда имъ.

Жена строго запретила покупать подарки. Сама купить. И то сказать — онъ на это дѣло не мастеръ. Въ прошломъ году купилъ семилѣтнему Петькѣ бумажникъ, а у Петьки и капиталу-то всего полтора франка звонкой монетой. А десятилѣтней Варенькѣ и того глупѣе — подарилъ мундштучекъ. Прельстило, что прозрачный, и съ искорками. А Варенька, конечно, оказалось, не курить. Ну словомъ — вздоръ. А теперь вотъ волчекъ... Ну такъ все и вышло.

— Тратишь деньги на такую ерунду, когда дома каждый грошъ считанъ — сказала жена.

Петька, уткнувъ носъ въ книжку, смотрѣлъ изподлобья и волчкомъ не заинтересовался. Варенька умоляюще поворачивала отъ матери къ отцу свое острое блѣдное личико. Всегда за всѣхъ мучается.

Неплодовъ притворился равнодушнымъ къ волчку, льстиво хвалилъ макароны, но какъ всегда, ѣлъ съ трудомъ.

— Воздухомъ напитался. Гулялъ много. Ничего. Послѣ праздниковъ за работу.

Отъ воздуха носъ у него припухалъ и краснѣлъ, и отъ этого щеки казались еще зеленѣе.

Послѣ завтрака жена увела Петьку сапоги покупать. Неплодовъ позвалъ Вареньку.

— Посмотри, дружокъ.

Завелъ пружинку, нажалъ.

— Дззз...

И началось чарованіе.

— Ты только посмотри, Варенька, дружокъ мой. Въдь вотъ въ рукахъ въ неподвижности — простая красная жестянка — ну просто дрянъ. А вотъ я сообщаю ей силу — смотри — поетъ, кружится, красота. Ну развѣ не чудо это? А вотъ кончилась сила, и опять простая жестянка. Вотъ, я еще заведу, смотри.



— Дззз...

— Ахъ, Варенька, дѣвочка моя нѣжная! Сколько чудесъ на свѣтѣ и не видимъ мы ихъ, не замѣчаемъ, не думаемъ. А вѣдь всюду, всюду! Ты тамъ что? Уроки готовила? Ну, иди, иди, готовь. А я тутъ еще...

Варенька пошла, быстро перебирая тонкими ногами въ штопанныхъ чулкахъ.

Черезъ часъ онъ позвалъ ее снова.

— Я вотъ тутъ отдыхаю, Варенька, и кое о чемъ думалъ? Хочешь, я еще звезду волчекъ? Видишь — вотъ онъ, мертвый и неподвижный. И вотъ я, властью, мнѣ данною — замѣчаешь эти слова? — властью, мнѣ данною, дарую ему жизнь и радость. Здѣсь большая философія. Я человѣкъ не особенно ученый, но если дать эту мысль разработать настоящимъ философамъ.. Большая книга могла бы изъ этого выйти. Ахъ, Варенька, другъ мой! Ты еще ребенокъ, но я чувствую, что ты понимаешь меня. Вѣдь понимаешь? Да?

— Понимаю — покорно вздохнула Варенька и опустила глаза.

— Сколько чудесъ! Господи, сколько чудесъ! Вотъ смотри, напримѣръ, — въ комнатѣ уже темнѣетъ. И вотъ, я подхожу къ стѣнѣ и поворачиваю этотъ крошечный рычажекъ. И что же? Вся комната вдругъ озаряется свѣтомъ. Развѣ это не чудо? Да покажи это чудо дикарю, такъ онъ у тебя мгновенно въ Бога увѣруетъ. И кто это чудо сдѣлалъ? Кто сейчасъ наполнилъ бѣдный домъ своимъ неизъяснимымъ свѣтомъ? Потому что, конечно, свѣтъ этотъ неизъяснимъ. Знаю, знаю — они скажутъ „анодъ и катодъ“. Знаемъ, сами учили. Но отъ названія дѣло не становится яснымъ. Назови мнѣ анодъ хоть „Иваномъ Андреемъ“ — все равно, все сіе неизъяснимо. погоди, Варенька. Такъ вотъ: кто сейчасъ на твоихъ глазахъ, такъ просто и спокойно сотворилъ это чудо, озарилъ свѣтомъ надвигающійся мракъ ночи? Я! Кто я? Я, Трифонъ Афанасьевичъ Неплодовъ. Взгляни на меня.

Неплодовъ всталъ прямо передъ растерянно улыбающейся Варенькой и беззащитно развелъ руки.

— Видѣла? Конечно, я твой отецъ, но все таки надо правду видѣть. Плюгавый, невзрачный, болѣзненный человекъ. Малообразованный. Вотъ и костюмчикъ у меня не того-съ. Штилеты... Словомъ, что ужъ тамъ. Въ герои не лѣзу. И вотъ, я, властью, мнѣ данной, дѣлаю чудо. Люди думаютъ, что солнце — это великое дѣло, а лампа пустяки. Солнце, конечно, большое, но и оно, и лампа моя скудная тою же силою зажигаются и горятъ. Всякій свѣтъ дается Господомъ и другого, кромѣ Господняго, нѣтъ. И солнце чудо, и лампа моя такое же чудо. Только, конечно, понять это трудно. Ну, иди, иди, дѣточка, Господь съ тобою. Тамъ кто-то звонить.

\* \* \*

Вечеръ прошелъ тихо.

Неплодовъ молчалъ

Только ночью, укладываясь спать, сказалъ женѣ:

— А странное дѣло, Леля, живемъ мы съ тобой дружно, а вѣдь никогда ни о чемъ не разговариваемъ. О глубококомъ.

— Есть намъ время разговаривать. За день наработаешься, намучаешься, и слова-то всѣ перезабудешь. Вотъ ужъ одиннадцатый часъ, а завтра въ семь вставать, успѣть до службы на базаръ сбѣгать.

— О земномъ печемся, какъ Марфа евангельская, о земномъ!

И вдругъ жена Неплодова злобно швырнула на постель подушку, на которую натягивала свѣжую наволочку, швырнула и крикнула:

— Опять Марфа! Надоѣла мнѣ ваша Марфа! Всю жизнь только Марфами тычуть.

— Леля, дорогая, не сердись! Ты пойми только, что Марія сидѣла...

— Отлично я понимаю, что Марія сидѣла.. А небось когда чай пить позвали, такъ, навѣрное, впереди всѣхъ побѣжала!

— Леля, что ты говоришь! Опомнись! Господи прости и помилуй!

— Я къ тому говорю, что Марфа тоже Христу служила. По своимъ силамъ, по своему пониманію. Душою то возноситься куда интереснѣе, чѣмъ сковородами гремѣть.

— Леля! Леля! Ну, какъ ты не понимаешь! Бога она, Марфа, не почувствовала, Бога!

Неплодова взглянула на мужа, потомъ приглядѣлась пристальнѣе и уже съ простой обычной заботой сказала:

— Зеленый ты до чего! Надо будетъ больше молока брать.

\* \* \*

Неплодовъ держалъ въ рукѣ только что довертѣвшійся волчекъ и говорилъ Варенькѣ, уныло прижавшейся къ косяку окна. Говорилъ шепотомъ, чтобы не услышалъ изъ сосѣдней комнаты Петька, который еще ничего понять не можетъ.

— И вотъ, что еще пришло мнѣ въ голову, дружокъ ты мой, Варенька. Пришло мнѣ въ голову, что всѣ эти профессора и Эдиссоны, всѣ они только орудіе въ рукахъ Божьихъ, вотъ какъ этотъ рычажокъ электрической. Рѣшилъ Господь показать черезъ нихъ свѣтъ — и показалъ. Они-то воображаютъ, вычисляютъ, измѣряютъ. Ха-ха-ха! Вотъ скажутъ — радій открыли. А что такое радій, позвольте васъ спросить? Сила. Много объяснили? Вотъ то-то и есть. Ты подумай только, Варенька, представь себѣ картину: сидитъ такой Эдиссонъ у себя въ кабинетѣ. Ты вѣдь все понимаешь, что я говорю?

— Все понимаю — прозвенѣлъ дрожащій голосокъ.

— Такъ вотъ — сидитъ Эдиссонъ можетъ быть тоже какой нибудь, плюгавый со вставными зубами и,

чертъ его знаетъ, какой еще у него пиджачишка, — сидитъ и нажимаетъ рычаги и идутъ отъ нихъ по всему міру и свѣтъ и тепло и голоса человѣчи и музыка. И не понимаетъ старикашка, что черезъ него рѣшилъ Господь послать намъ чудеса эти, чтобы мы, огражденные отъ ужасовъ природы — природа, Варенька, врагъ нашъ... Всѣ думаютъ — ахъ, птички чирикаютъ, ахъ, травка зеленѣетъ, — а она смотри-ка: то землю трясетъ, города рушитъ, то водой заливаютъ, то лавой, огнемъ подземнымъ палитъ — злющая, врагъ она человѣку до послѣдняго своего издыханія. И вотъ, когда становится Господу жаль человѣка, посылаетъ онъ ему чудо черезъ плѣшивыхъ профессоровъ, черезъ Эдиссоновъ. Вонъ... слезы у меня... это ничего... Это отъ внутренняго восторга. Посылаетъ человѣку чудо, чтобы онъ хоть на минутку юдоль свою темную благословилъ. Варенька! Одиноки мы всѣ, но ты меня понимаешь, дочечка, родная кровинка моя!

— Понимаю — всхлипнулъ голосокъ.

— Ну, иди, Богъ съ тобой. Я прилягу.

\* \* \*

Очнувшись отъ полудремоты въ сумеркахъ, всталъ Неплодовъ и, не зажигая огня, пошелъ въ столовую.

Онъ видѣлъ у освѣщеннаго стола Петьку и Вареньку за книжками. Петька поднялъ голову, прислушался.

— Варя! быстро зашепталъ онъ. Папа идетъ! Волчекъ несетъ! Прячься скорѣй!

И видѣлъ онъ, какъ вскинула руками Варенька, какъ повернула свое искаженное тоскою и ужасомъ острое личико и застыла глядя въ темную дверь.

Неплодовъ закрылъ глаза, постоялъ минутку, качнулся и бодро вошелъ въ столовую.

— Ага, еще не поздно — громко сказалъ онъ взглянувъ на часы. Вотъ что, Петруша, дружокъ мой, возьми ты этотъ самый... какъ его... волчекъ и отнеси швейцари-

хину мальчишкѣ. Я для него это и купилъ, да все никакъ не собрался. . Отнеси, другъ мой. А я еще отдохну. Нездоровится что-то.

Повернулся, неловко задѣвъ о косякъ плечомъ и плотно закрылъ за собой двери.

## Тихій спутникъ

На дняхъ ушелъ отъ меня маленькій другъ, тихій спутникъ послѣдняго десятилѣтія моей жизни, слѣдовавшій за мной преданно и вѣрно по всѣмъ этапамъ тяжелаго бѣженскаго пути. Ушелъ такъ же загадочно, какъ и появился когда то.

Гдѣ онъ? Почему бросилъ меня?

Можетъ быть онъ уже давно исчезъ, а я только теперь замѣтила. Я вѣдь никогда не обращала на него вниманія, я только терпѣла его присутствіе, это онъ самъ слѣдовалъ за мной. Маленькій, корявый, неопредѣленнаго цвѣта, неопредѣленной формы — обломокъ цвѣтного сюр-гуча.

Первый разъ замѣтила я его весной 17-го года. На моемъ большомъ нарядномъ письменномъ столѣ, сверкавшемъ ледяными кристаллами хрустальнаго прибора, съ лѣвой стороны между пепельницей и прессъ-папье, спокойно и сознательно помѣстился этотъ закопченный чужой и ненужный огрызокъ. Я удивилась, какъ онъ ко мнѣ попалъ, хотѣла сейчасъ же выбросить, потомъ забыла и онъ остался. Я вѣроятно просто не замѣчала его въ расфѣянности своей и не замѣчая привыкла, и видъ его не раздражалъ и не привлекалъ моего вниманія. Такъ онъ жилъ и ничего въ этомъ удивительнаго нѣтъ. Я не замѣчала, а онъ жилъ. Развѣ это рѣдко въ нашей жизни?

Прислуга, стирая пыль со стола, бережно укладывала его на то же мѣсто, вѣрво думала, что онъ предметъ нужный и важный, за который, пожалуй, и отвѣтить придется.

Первый разъ поняла я его преданность, когда, пріѣхавъ изъ Петербурга въ Москву на нѣсколько дней по дѣламъ, открыла чемоданъ и увидѣла сразу, сверху, на сашэ съ носовыми платками, очевидно, втиснутый наспѣхъ въ послѣднюю минуту, этотъ огрызокъ закоптѣлаго сюр-гуча. Я ничего не взяла съ письменнаго стола и ужъ, конечно, не сама положила абсолютно мнѣ ненужную ерунду. Самъ онъ залѣзь, что ли?

Я бросила его на отельный столикъ и забыла.

Вернувшись въ Петербургъ, разбирая чемоданъ, нашла его испуганно забившагося въ складку кожи. Куда я его выбросила, — но, конечно, выбросила — не замѣтила сама. Вечеромъ онъ уже лежалъ на своемъ обычномъ мѣстѣ. Я ли машинально положила, или прислуга нашла и, помня, что это вещь нужная, водворила его на мѣсто. И я снова перестала его видѣть — привычно не замѣчала.

Подошли страшные дни. Подъ окнами стоялъ грузовикъ съ пулеметомъ; онъ трещалъ по ночамъ желѣзнымъ горохомъ, отъ котораго дребезжали стекла и дрожали ви-сюльки абажура мертвой лампы надъ моимъ столомъ. Электричества не давали. Холоднымъ сталактитомъ въ мутномъ уличномъ свѣтѣ леденѣла огромная граненая чернильница и длинная, никогда ненужная, любимая только за красоту хрустальная линейка и тяжелое, какъ надгробный памятникъ, прессъ-папье, погребавшее мелкія квитанціи навѣкъ такъ, что ихъ и найти нельзя было. Они не двигались, эти тяжелые камни, но дребезжащій, дрожащій абажуръ выдавалъ настроеніе всего стола: ему было страшно.

Загрохотали ворота — въ нихъ били прикладами. И на столѣ зазвенѣло что-то: это стеклянная марочница, тонкая и нервная, упала въ обморокъ и скатилась со стола. И ставя ее впотымахъ на прежнее мѣсто, руки мои нащу-

пали маленькій гладкій, непонятный кусочекъ. Я осторожно, спрятавшись за дверь, чтобы не было видно съ улицы, зажгла спичку и посмотрѣла: это былъ мой обломокъ сюргуча. Я бросила его около печки. Утромъ онъ лежалъ съ лѣвой стороны стола.

Черные, сонные дни, бѣлые бессонныя ночи. Уходили, пропадали люди. Уходили и не возвращались вещи. И тѣ, и другія не замѣнялись и обнажалась жизнь, голая и безобразная.

Съ письменнаго стола первой ушла чернильница. Какъ Соня Мармеладова завернулась въ драдедамовый платскъ, пошла на базаръ и продалась для поддержанія существованія близкихъ: лампы, линейки, марочницы и меня.

Потомъ ушли и другіе. Осталось пустое сукно съ начертанными пылью воспоминаніями о томъ, что когда то здѣсь было. И съ лѣвой стороны стола одинъ, только одинъ маленькій обломокъ. Онъ. Сюргучъ.

Я уѣхала, взявъ только самыя необходимыя вещи. Среди нихъ вылезъ изъ чемодана и улегся на обшарпанный отельный столъ — мой вѣрный уродъ, сюргучный огрызокъ. Это было въ Москвѣ.

Потомъ была поѣздка въ Кіевъ на самый короткій срокъ, чтобы прочесть на вечерѣ свой рассказъ. Въ чемоданѣ только бальное платье, да сюргучъ.

Кіевъ. Петлюра. Обыски. Путь на сѣверъ отрѣзанъ. Катимся ниже, ниже. И вотъ мы съ сюргучомъ уже въ Одессѣ. Паника, стрѣльба. Привѣтливые ослы черныхъ бѣлозубыхъ войскъ, ослы, только вчера шедшіе головами къ намъ, хвостами къ морю, бѣгутъ, подбодряемые палкой, и хвосты ихъ уже повернуты къ намъ.

Новороссійскъ. Въ пустомъ чемоданѣ одинъ онъ, выброшенный мной собственноручно въ Одессѣ, кусокъ сюргуча. Надоѣлъ. Неужто въ цѣломъ мірѣ не найдется никого, чтобы проводить меня?

Константинополь.

Веселый разговоръ:

— Можетъ быть можно что-нибудь еще продать? Боюсь, что скоро окажемся на днѣ.

— Господа, не бойтесь. Вѣдь мы уже всѣ на днѣ. Это и есть дно. Видите какъ просто и совсѣмъ не страшно. Разломаемъ этотъ бубликъ на четыре части...

— Можетъ быть у васъ что-нибудь найдется?

— У меня флаконъ изъ подъ духовъ и вотъ... кусочекъ сюргуча.

Парижъ. Берлинъ. Я совсѣмъ забыла о немъ. И вотъ, въ тревожный день, когда вся душа дрожала, какъ тѣ висульки на абажурѣ — я написала письмо мірового значенія (мірового для моего міра, единственного, въ которомъ живетъ человѣкъ, и вмѣстѣ съ которымъ гибнетъ). Письмо мірового значенія надо было запечатать сюргучной печатью. И вотъ первый разъ взяла я его въ руки, этотъ бурый комокъ, взяла не для того, чтобы бросить, а чтобы использовать. Онъ зашипѣлъ на свѣчкѣ, оплылъ черной лавой и вдругъ упала на бумагу ярко лазурная нежданная капля.

Такъ странно это было и для души дрожавшей — благословенно, какъ чудо.

— Такъ вотъ ты какой!..

И опять бросила, и опять забыла.

И вотъ долгая, тяжкая бользнь, больница.

Красные туманы горячки. Круглая голова ласковаго тигра безъ шеи, лежащая на кругломъ кружевномъ плато, какъ усѣкновенная глава на блюдѣ. Наклоняется надо мной... Ахъ да — это бывшая квартирная хозяйка фрау... фрау... не помню. Это она въ кружевномъ праздничномъ воротникѣ. Она протягиваетъ мнѣ что-то.

— Послѣ вашего отъѣзда, говоритъ она. — я нашла въ столѣ вотъ это. У меня ничто не должно пропадать — я принесла.

Всматриваюсь черезъ колыхающуюся красную мглу



— онъ! Обломокъ сюргуча. Нашель меня, пришелъ. Столько прожили вмѣстѣ ..

И въ эту минуту, въ озареніи огненной свѣчи стоявшаго у ногъ моихъ Архангела Уриила, скорбнаго ангела смерти, тогда пожалѣвшаго меня, увидѣла я въ этомъ маленькомъ корявомъ кусочкѣ то, что въ обычной жизни люди видѣть не могутъ: существо безликое, выражающее обликомъ не человѣческимъ, человѣческую печаль, заботу и ласку и страхъ за меня и преданность.

— Столько прожито вмѣстѣ!

Кто сказалъ это? Я? Онъ? Все равно, другъ мой маленькій, неживой уродъ, единственный — иди ко мнѣ!

\* \* \*

И вотъ теперь онъ ушелъ. Можетъ быть и не теперь, а давно, а я только случайно сейчасъ замѣтила это...

---

## Кука

Клавдія всю жизнь была „подругой“.

Есть такой женскій типъ въ комедіи нашей жизни.

„Подруга“ всегда некрасива, добра, не очень умна. Ей повѣряютъ тайны, когда трудно молчать, она хорошо исполняетъ порученія. „Подруга“ часто влюбляется вмѣстѣ со своей госпожей, за компанію. Говорю „госпожей“, потому что въ женской дружбѣ почти никогда не бываетъ двухъ подругъ. Подруга только одна. Другая — госпожа.

Въ Парижѣ Клавдія попала въ подруги къ Зоѣ Монтанъ, умницѣ, красавицѣ, женщинѣ съ прошлымъ, съ настоящимъ и будущимъ. Настоящее у Зои было, очевидно, хуже другихъ временъ, то есть прошлаго и будущаго.

Пробовала сниматься въ кинематографѣ, пробовала танцовать въ ресторанѣ, но все какъ то не ладилось, пришлось остановиться на коммисіонерствѣ: продавать жемчуга и шарфы.

Тутъ то и прилипла къ ней Клавдія, рисовавшая, вышивавшая, самоотверженно бѣгавшая по порученіямъ.

Зоя относилась къ Клавдіи чуть-чуть презрительно, но ласково. Узнала, что въ дѣтствѣ Клавдію звали Кукой. Понравилось.

— Это меня такъ младшій братецъ прозвалъ. Со-кращенное, говорить, отъ кукушки. Оттого, что я такая веснушчатая.

У Зои, въ ея маленькой отельной комнатѣ всегда толклось много народу. И дѣлового съ картонками и записками, и бездѣльнаго, съ букетами и театральными контрамарками. Среди бездѣльныхъ Кука отмѣтила высокаго, широкоплечаго съ красивыми большими, очень бѣлыми, руками. Носъ съ горбинкой и брови со взлетомъ.

— На сокола похожъ.

Думала, что такой долженъ бы Зоѣ понравиться. Но только разъ проговорилаъ Зоя, рассказывая о какой то пьесѣ:

— Такую блестящую роль отдали толстому увальню. Здѣсь нуженъ актеръ-красавецъ, обаятельный, властный, чтобы сердце дрожало, когда онъ взглянетъ. Кто-нибудь, въ родѣ нашего князя Танурова.

— Князь на сокола похожъ — сказала Клавдія.

Зоя нервно задергала плечами, неестественно засмѣялась:

— Кука, моя Кука! Ну, до чего ты у меня корявая, такъ это прямо на человѣческомъ языкѣ выразить нельзя.

И Кука поняла, что Зоѣ князь нравится. И какъ только поняла, сразу за компанію и влюбилась.

Князь Куку совсѣмъ не замѣчалъ. Маленькая, рыженькая, хроменькая, одѣвалась она всегда въ какіе то защит-

ные цвѣта и, благодаря этимъ цвѣтамъ и собственной естественной окраскѣ, такъ плотно сливалась съ окружающей средой — со стѣной, съ диваномъ — что ее и при желаніи нелегко было замѣтить. Душа у нея тоже принимала окраску „среды“. Зоя весела, и Кука улыбается. Зой молчитъ и Куки не слышно. Такъ, гдѣ же ее выдѣлать изъ этого фона звонкаго и яркаго?

Зоя нервничала, похудѣла. Стала разсѣянной. О князѣ никогда не говорила, но если Кука о немъ упоминала, она сразу затихала и настораживалась.

Разъ неожиданно сказала:

— Здоровое животное. У него, навѣрное, какъ у лошади, селезенка играетъ.

И лицо ея стало злое и несчастное.

Кука мечтала о князѣ. Мечтала не для себя, а за Зою. Развѣ смѣла она — для себя?

Вотъ Зоя утромъ сидитъ съ нимъ на балконѣ, гдѣ то у моря. На ней розовый халатикъ, тотъ самый, который Кука сейчасъ разрисовываетъ для американки. Плечи у Зои смуглая, душистая, сквозятъ черезъ золотое кружево. Князь улыбается и говорить... Кука совсѣмъ не можетъ себѣ представить, что онъ говоритъ. Можетъ быть просто „счастье! счастье! счастье!“

Настали тревожные дни. Зоя двое сутокъ пролежала въ постели, ничего не ѣла и молчала. На третій день пришла князь и Зоя хохотала, какъ пьячая, и все приставала къ Кукѣ.

— Князьенка, посмотрите, какая моя Кука чудесная! Сидитъ, веснушками шевелить.

А когда князь ушелъ, она долго сидѣла съ закрытыми глазами и на вопросы не отвѣчала. Потомъ, не открывая глазъ, сказала:

— Уйдите-же! Вы видите, что я устала.

Но вотъ насталь вечеръ, когда Зоя сама пришла къ Кукѣ, блѣдная, словно испуганная.

— Другъ мой — сквзала она. — Сегодня Господь сотворилъ для меня небо и землю. Сегодня Константинъ сказалъ мнѣ, что любить меня. И онъ меня поцѣловаль.

Кука, похолодѣвъ отъ восторга, встала передъ ней на колѣни и заплакала.

— Господи! Господи! Счастье какое!

— Я такъ и сказала ему — небо и землю — повторила Зоя въ экстазѣ. — Небо и землю.

А Кука ни о чемъ не спрашивала. Молилась и плакала.

\* \* \*

Утромъ Кука забѣжала въ церковь поставить свѣчку за рабовъ Божьихъ, Константина и Зою. Хотѣла поставить передъ Распятіемъ, но подумала, что лучше не у страданія горѣть ей, а у торжества и радости. И поставила къ Воскресенію.

Потрогала листки — съ красными надписями за здравіе, съ черными — заупокой.

— За упокой для души умершей. А почему нѣтъ заупокой для живой и томящейся. И почему есть о здравіи и нѣтъ о счастьеѣ.

Помолилась, всплакнула отъ радости

— Какое счастье, что есть на Божьемъ свѣтѣ такая красота, какъ эти люди и ихъ любовь. Вотъ и я, маленькая, корявенькая, все-таки, что-то для нихъ сдѣлала.

\* \* \*

Пошли дни новые, похожіе на прежніе. Рабъ Божій Константинъ возилъ рабу Зою завтракать на своемъ, говорилъ онъ, „гнусномъ“ фордикѣ. Иногда брали съ собою и Куку.

Зоя никогда не возвращалась къ откровенному разговору съ Кукой и не вспоминала о томъ днѣ, когда

Господь сотворилъ для нея небо и землю. Какъ будто, ей даже было неприятно, что она такъ тогда размякла. Потомъ Кука поняла, что у князя есть жена.

— Какая трагедія! И какъ прекрасна Зоя въ своей самозабвенной жертвѣ. Такая красавица! Такая гордая!

Шли дни. И потомъ насталь день.

Зоя съ вечера попросила Куку отвезти заказъ въ Сень Клу. Князь предложилъ, что довезетъ ее на своемъ „гнусномъ фордикѣ“. Кука и обрадовалась и испугалась. Какъ такъ — вдвоемъ... О чемъ же она съ нимъ говорить будетъ?

Ночью придумывала всякіе предлоги, чтобы отказать, но какъ то ничего не вышло. Утромъ съ отчаяніемъ въ сердцѣ и съ картонкой въ рукахъ, ждала у подъѣзда, чтобы онъ не поднялся и не увидѣлъ ее ужасной комнатухи.

Князь самъ управлялъ автомобилемъ и поэтому, слава Богу, говорилъ не много. Кука исподтишка любовалась его бровями, его сильными руками.

— Князь-соколь!

Онъ мелькомъ взглянулъ на нее. Усмѣхнулся. Взглянулъ еще.

— Сколько вамъ лѣтъ?

— Двадцать девять — испуганно отвѣтила Кука.

— Я думалъ — четырнадцать.

Подъѣхали къ дому заказчицы. Князь нажалъ нѣсколько разъ резину своего гудка, и элегантный лакей въ полосатой курткѣ и зеленомъ передникѣ выбѣжалъ къ воротамъ. Князя отдалъ ему картонку и повернулъ автомобиль.

— Какъ все сегодня нарядно, думала Кука, пряча въ рукава свои руки въ нитяныхъ перчаткахъ. И какъ я не подхожу ко всему этому.

— Ну-съ, а теперъ — сказалъ князь — я предложу вамъ слѣдующее: мы никому ничего не скажемъ и поѣдемъ завтракать.

Кука совѣмъ перепугалась. Что значить „никому не скажемъ“? Впрочемъ, это, можетъ быть, какая нибудь смѣшная поговорка или цитата.

— Нѣтъ, мерси, я не голодна, мнѣ пора домой.

— Кука! Маленькая эгоистка! Она не голодна! Зато я голодень. Надо же мнѣ какую нибудь награду за то, что развожу ваши картонки. Неужели нельзя опоздать на полчаса? Мы никому ничего не скажемъ и живо позавтракаемъ.

Опять это „никому ничего“... Князь повернулъ, не доѣзжая до моста и остановился около маленькаго рестораника, нарядно украшеннаго фонарями и гирляндами зелен

Кука старалась настроить себя на радостный ладъ. Такъ все необычайно. Она сидитъ, какъ настоящая дама съ этимъ удивительнымъ человѣкомъ. Онъ наливаетъ ей какого то крѣпкаго вина. Какая красивая рюмка. Но, нѣтъ радости. Растерянность и страхъ. Скорѣе бы кончилось. Какъ много вилокъ... Которую же надо взять? Неужели, онъ не понимаетъ, что ничего мнѣ этого не нужно?...

Она подняла глаза и встрѣтила его взглядъ, пристальный и веселый.

— Я гляжу на васъ, маленькая моя, не меньше пяти минутъ. О чемъ вы думаете?

Кука молчала. Чувствуетъ, что краснѣетъ до слезъ. Онъ вдругъ взялъ ея руку.

— Маленькая моя! Необычайная! Смотрите, какъ ея ручка дрожить. словно крошечная птичка. И пульсъ бьется. Господи! Бьется сердце маленькой птички. Кукиной руки!

Онъ прижалъ ея руку къ своей [большой горячей щекъ, потомъ сталъ цѣловать ея быстрыми твердыми поцѣлуями.

— Кука, маленькая, какъ я люблю васъ.

И точно, въ поясненіе, прибавилъ:

— Серьезно, сейчас я вас одну в цѣломъ мірѣ люблю.

Кука не шевелилась.

Онъ обхватилъ рукой ея плечи и, быстро нагнувшись, поцѣловалъ ее въ губы.

Кука закрыла глаза.

— Господи! Что же это? Это ли счастье — этотъ ужасъ? Зоя, красавица, гордая, и я, бѣдненькая, рваненькая. Зоино счастье красивое, гдѣ же оно? Куку, которая „веснушками шевелить“, цѣлуютъ тѣми же губами...

И вдругъ поняла, что значитъ, „никому ничего не скажемъ“...

— Ну, маленькая моя! — говоритъ ласково-насмѣшливый голосъ. — Ну можно ли такъ блѣднѣть?

Лакей убиралъ со стола закуску и князь, слегка отодвинувшись отъ Куки, сказалъ, наливая уксусъ въ салатникъ:

— Сегодня удивительный день. Я бы могъ выразиться, что сегодня Богъ сотворилъ для меня небо и землю. Ай, что съ вами?

Онъ схватилъ ее за руку выше локтя. Ему показалось, что она падаетъ. Но она вырвалась и встала, блѣдная, страшная, съ открытымъ ртомъ, задыхающаяся. И вдругъ подняла стиснутые кулаки, прижала ихъ къ щекамъ, закричала, качаясь:

— Подлый! Вы подлый! Обнимали меня здѣсь, какъ портнишку, какъ швейку... пусть... это пусть... это забавлялись... чего со мной считаться... А ея святые слова вы не смѣете повторять! Не смѣете!... Убью!.. Убью!..

Голосъ у нея хрипѣлъ и срывался, и чувствовалось, что будь у нея силы, она кричала бы звенящимъ отчаяннымъ крикомъ.

Князь, криво улыбаясь, налилъ въ стаканъ воды. Взялъ ее за плечо. Она отскочила, словно обожглась.

— Не смѣй прикасаться ко мнѣ, гадина! Не смѣй! Убью-у-у!

И была въ ея дрожавшмъ безкровномъ лицѣ такая безмѣрная боль и такое гордое отчаяніе, что онъ пересталъ улыбаться и опустилъ руки.

Не сводя съ него глазъ, словно, какъ звѣря, держа его взглядомъ на мѣстѣ, она обошла столъ и вышла, стукнувшись о притолку плечомъ.

— О-о-о! со стономъ вздохнулъ онъ.

Попробовалъ насмѣшливо улыбнуться

— Quelle corvée!

Но вдругъ замѣтилъ на столѣ Кукины перчатки. Простыя, бѣдненькія, рваненькія Кукины перчатки.

Слишкомъ маленькія и ужасно бѣдныя на твердой холодной скатерти, рядомъ съ хрустальнымъ бокаломъ, рядомъ съ рѣзнымъ серебромъ прибора.

И, не понимая, въ чемъ дѣло, и что съ нимъ происходитъ, князь почувствовалъ, что тутъ ужъ никакъ не устроишь такъ, чтобы все вышло забавно и весело.

— Но, вѣдь, право же, я не хотѣлъ ее обидѣть. Неужели я былъ некорректенъ?

---

## Кафэ

Весна.

Медленнѣе идутъ прохожіе — грѣются, дышатъ.

Кафэ выставили на терассы всѣ запасныя столики. Все переполнено.

И густая, медленно, полноводно-пльвущая толпа любитъ этимъ привычнымъ парижскимъ видомъ своихъ тротуарныхъ береговъ.

Вотъ пристань — Café Napolitain, вотъ другая — Madrid, вотъ Café de la Paix. И вездѣ какъ будто тѣ же



лица, точно они переходятъ на гастроли изъ одного помѣщенія въ другое.

На первомъ планѣ — задумчивая, тщательно распisanная дѣвица передъ стаканомъ пива. Она ждетъ легкомысленнаго знакомства. На ней модная, но недорогая шляпка и всегда новые башмаки, такъ какъ ноги — это ея аванпостъ, развѣдка, которая высылается за плѣнными.

Второе постоянное лицо — тучный пожилой господинъ съ нафабранными усами и краснымъ жилетомъ рытаго бархата. Поэтически подвязанная шелковая тряпочка замѣняетъ галстухъ и свидѣтельствуесть о художественной натурѣ тучнаго господина. Воротничекъ слишкомъ перекрахмаленный, ломкій, съ обтертыми перегибами выглаженъ очевидно не очень опытной, но любящей рукой. Передъ господиномъ крошечная рюмочка коньяку.

Ну кто изъ васъ не видѣлъ его? Вѣдь это тотъ самый милый парижскій бульвардье, котораго такъ любили романисты мопассановской плеяды. Онъ даже какъ будто старается сохранить тотъ старый запечатлѣнный литературный обликъ.

За нимъ дама, съ большой узкой картонкой, которую она поставила подъ столъ. Дама принаряжена, усталое ея лицо подмазано,

— О, эти дамы! Онѣ готовы до обморока бѣгать по магазинамъ.

Передъ ней чашка кофе и бриошь.

Иногда къ ней подсаживается другая дама. Тогда усталая начинаетъ что то рассказывать. По жестамъ видно, что говорятъ о платьяхъ. Говорятъ сосредоточенно, какъ могутъ говорить о нарядахъ только женщины и только въ Парижѣ.

Въ углу сидитъ старикъ съ сѣдой бородой и играетъ самъ съ собой въ шашки. Передъ нимъ въ стаканѣ ярко-зеленое зелье и цѣлый графинъ воды. Хватитъ старику до вечера.

Иногда пробѣгаетъ веселый, щупленькій, уличный шансонье и, неожиданно остановившись, начинаетъ хриплымъ говоркомъ, торопливо глотая слова, пѣть шансонетку.

Cousine, cousine...

T'es fraîche comme une praline...

Оближетъ сухія губы и еще быстрѣе:

Cousine, cousine...

А бѣгающіе подъ морщинистыми вѣками глаза не перестаютъ мѣрять разстояніе, отдѣляющее его отъ медленно, но стойко пробирающагося къ нему метръ д'отеля.

Оборвавъ пѣніе на высокой и до того сиплой нотѣ, что самому дѣлается смѣшно (съ комическимъ отчаяніемъ махнулъ рукой), онъ спѣшно тычетъ публикѣ просаленную шляпу, все съ тѣми же прибаутками.

— Mercі, jeune homme, — пожилому господину.

— A vous, la gosse, — сердитой, толстой старухѣ.

И бѣжитъ дальше сипѣть и хрипѣть въ слѣдующемъ кафѣ.

Только на парижскихъ бульварахъ вы можете встрѣтить такихъ смѣшныхъ оригиналокъ, какъ эта дама съ попугаемъ на плечѣ. Ее многіе знаютъ и, смѣясь, показываютъ другъ другу.

На дамѣ длинное обшмыганное, драповое пальто, къ которому идетъ названіе „бурнусъ“ — оттого ли что оно бурое (значить по созвучію), оттого ли что стариннаго „теткинаго“ фасона. Шляпа на дамѣ мятая, расшлепанная и вся обшитая мелкими перышками. Въ перышкахъ этихъ хлопотливо долбитъ и роется клювомъ сидящій на плечѣ у дамы небольшой попугай. Попугай сидитъ словно на насѣстѣ, спокойно, привычно и ни въ чемъ не стѣсняясь — длинные засохшіе потеки, словно на скалѣ — пристающіе чаекъ, украшаютъ плечо и бокъ „бурнуса“

Лица дамы не видно. Что то тоже бурое, въ тонъ пальто. Грязные клоки сѣдоватыхъ волосъ и обвислыя

поля шляпы закрываютъ его. Она почти не шевелится, низко нагнувшись къ столу хлебаеть кофе и жуеъ хлѣбъ. Попугай вертится, чешется, чувствуетъ себя вполнѣ на мѣстѣ. Мелкія перышки летяъ изъ подъ его клюва со шляпы дамы.

Весело смѣются парочки надъ забавной картиной.

\* \* \*

А солнце, милое, молодое, желтое, только что вылу-пившееся изъ зимнихъ тучъ, съ дѣтской невоспитанностью лиловить нафабранные усы бульвардѣе, зеленить перекрашенное манто дамы съ картонкой и ярко выдѣляетъ двѣ горькія морщинки у нарумяненнаго рта жрицы веселья.

Озабоченно бѣгаютъ гарсоны, высоко надъ головами поднимая подносы. Звеняъ стаканы. Солнце. Весна. Жизнь.

Весело!

Какъ странно сидеть этотъ „парижскій бульвардѣе“. Онъ сидеть не меньше ста лѣтъ. Помните у какихъ старыхъ романистовъ мы его уже встрѣчали?

У него безсмысленные, но совсѣмъ не веселые глаза. Вѣдь онъ сто лѣтъ ждетъ чего то отъ этого солнца, и толпы и бѣдной рюмочки коньяку.

Та, чьи неумѣлыя но усердныя руки крахмалили ему этотъ воротничекъ, вѣроятно, не хочетъ, чтобы онъ уходилъ изъ дому, и онъ ссорится съ ней и вретъ, что это необходимо для его дѣла. Кромѣ того ему нужно выпросить у нея нѣсколько грошей, чтобы заплатить расходы. Эта рюмочка коньяку дорого ему достается.

И вотъ онъ одолѣлъ. Завоевалъ. Сидеть и смотреть Глаза безсмысленные — онъ ни о чемъ не думаетъ. Смотреть. Если бы онъ былъ калмыкомъ, онъ бы затянулъ пѣню:

„Солнце свѣтитъ, народъ ходить, стаканъ дребезжить“...

Сидеть. Смотреть. И для этого невеселяго дѣла мучаетъ кого то. Зачѣмъ?

\* \* \*

Расписанная дѣвица устала и озябла. Она безконечное число разъ провѣряетъ карманнымъ зеркальцемъ, не посинѣлъ ли у нея носъ. Ей хочется спать и хочется пить, но хлебнуть изъ своего стакана она не смѣетъ. Вѣдь придется заказывать новый, а заработки не важные. Новые башмаки жмутъ ноги и отъ этого онѣ совсѣмъ застыли.

Она жмурится. Зкрыть бы глаза.. Кругомъ все парочки. О, они всѣ смотрѣли бы на нее, если бы не эти дамы, которыя слѣдятъ за ними, какъ полицейскія собаки. Гарсонъ сочувственно киваетъ ей головой... Уснуть бы...

\* \* \*

Старикъ переставляетъ шашки. Онъ уже замѣтилъ, что сосѣдняя парочка пересмѣивается на его счетъ. Все равно. Пусть. Только бы не сидѣть дома, въ нетопленной комнатухѣ, за которую, если признаться честно — не заплачено уже второй мѣсяць. Объ этомъ глупомъ и неинтересномъ фактѣ хозяйка говоритъ съ хозяиномъ за стѣной... Все слышно.. Здѣсь тепло и свѣтло, и никто ничего не знаетъ.. Веселое солнце.. Вотъ эга парочка все оборачивается.. Смѣйтесь, смѣйтесь, молодой человѣкъ, съ вашей барышней. Мнѣ самому давно уже смѣшно.

\* \* \*

Веселый шансонье бѣжитъ дальше. Дрожатъ его щуплые плечи. Онъ на ходу пересыпаетъ на ладонь мелочь изъ шляпы.

— Около двухъ франковъ...

Такъ мало, кажется, еще никогда не было. И кашель, кашель. Можетъ быть снова гриппъ. *Allons rigoler.*

„*Cousine, cousine!*“

*T'es fraiche...*

Навѣрное гриппъ. *Merci, jeune homme!*

Дама съ картонкой говорить по русски.

— Они обѣщали купить, сами назначили придти ровно въ три. А швейцаръ говорить, что уѣхали утромъ. Мы шили всю ночь. Крепъ де шинъ купили самый дорогой...

— Совсѣмъ уѣхали? — спрашиваетъ собесѣдница.

— Совсѣмъ. Въ Америку.

— Вытрите глаза. На насъ смотрять.

— Я рассчитывала послать немножко въ Москву Се-режѣ. Думала — купить себѣ хоть хлѣбца.

— У васъ пудра есть? Неловко. На насъ смотрять.

\* \* \*

Смѣшная оригиналка съ попугаемъ на плечѣ подняла голову.

У нея сѣрое, давно немытое лицо и мертвые, свѣтлѣ щекъ, глаза.

— Гарсонъ! — позвала она. Гарсонъ!

Она хотѣла платить.

И вдругъ ея же голосъ, но полный невыразимой муки, громко и страшно закричалъ:

— Je ne te reverrai jamais! Ah que je souffre!

Это кричала птица.

Такъ кричагъ попугаи слова, которыя очень часто слышать.

\* \* \*

Веселое солнце прыгаетъ по столикамъ веселаго кафэ.

Волей Непостижимаго созванные статисты играютъ свои веселыя роли.



## Мой маленькій другъ

Не каждый можетъ похвастаться, что у него есть другъ на всю жизнь.

У меня есть.

Мой другъ черноглазъ, молодъ и прекрасенъ. Ему пять лѣтъ. Онъ носитъ клѣтчатую юбку въ двадцать пять сантиметровъ длинны, подстриженную челку и круглый беретъ.

Въ дружбу его я вѣрю.

Вчера когда его отвозили въ школу, куда то за Парижъ, онъ сказалъ матери:

— Передай ей (это значить мнѣ), что я ей другъ на всю жизнь.

Это было сказано очень серьезно, и не вѣрить нѣтъ никакихъ основаній.

Познакомились мы въ прошломъ году. Друга моего привезли изъ Лондона съ настоящимъ англійскимъ паспортомъ, съ первой страницы котораго въ радостномъ изумленіи глядятъ четыре круглыхъ глаза: это портретъ моего друга съ кошкой на рукахъ. На слѣдующей страницѣ написано, что паспортъ выданъ миссъ Иренъ Ш. съ правомъ разѣзжать по всему Божьему міру безъ всякихъ визъ. Я позавидовала и миссъ и кошкѣ...

Порогъ моей квартиры переступила эта самая миссъ, уцѣпившись одной рукой за юбку матери, а другой прижимая къ себѣ большую книгу — сказки Андерсона.

Окинувъ меня зоркимъ взглядомъ, сказала дѣловито:

— Я васъ могу очень легко обратить въ лебедя.

Этотъ проектъ, конечно, страшно меня заинтересовалъ.

Обычно гости, входя въ первый разъ въ мой домъ, говорятъ такую ненужную дребедень, что даже не знаешь, что и отвѣтить.

— Мы давно собирались...

— Какъ вы мило устроились...

— Мы столько слышали..

Отвѣчаешь по очереди:

— Благодарю васъ.

— Вы очень любезны.

Иногда и не кстати.

Спросить:

— Вы давно на этой квартирѣ?

Отвѣтишь:

— Вы очень любезны.

Спросить:

— Какъ вамъ удалось найти?

Отвѣтишь:

— Благодарю васъ.

Но вѣдь первыя любезности журчатъ такъ одинаково, что никому и въ голову не придетъ въ нихъ вслушиваться.

А тутъ вдругъ сразу такое дѣловое предложеніе. И видно, что человѣкъ опытный — одного бѣлаго взгляда было достаточно, чтобы оцѣнить во мнѣ самый подходящій матеріалъ для производства лебедей.

— Какъ же вы это сдѣлаете? — спросила я съ интересомъ.

— Очень просто — отвѣтилъ мой будущій другъ, влѣзая всѣмъ животомъ, локтями и колѣнями на кресло. — Очень просто: я пришью вамъ гусиное лицо, куриную шею, а въ руки натыкаю перьевъ изъ подушки.

Геніальная простота изобрѣтенія поразила меня.

Я пригласила гостью сѣсть.

Гостья сѣла, сейчасъ же открыла своего Андерсена и стала читать вслухъ. Читала плавно, иногда чуть-чуть улыбаясь, иногда шуря глаза, вглядывалась въ строки. И странное дѣло — случайно поднявъ голову и замѣтя на столѣ варенье, съ интересомъ на него уставилась, а голосъ продолжалъ также плавно читать. Тутъ-то и выяснилась удивительная штука: будущій другъ мой оказался особой

абсолютно безграмотной, но обладающей феноменальной памятью, и читалъ сказки наизусть.

Познакомившись поближе, мой другъ усаживался иногда на диванъ, закидывалъ ногу на ногу и принимался читать мнѣ вслухъ газету. Въ газетѣ, конечно, много мѣста удѣлялось политикѣ.

— Большевики ассигновали декларацию — старательно выговаривалъ мой другъ, и бросалъ на меня быстрый взглядъ исподлобья: оцѣнила ли я красоту стиля.

— Послѣднее извѣстіе: въ Берлинѣ разрѣзалось яблоко съ червякомъ. И всѣ куры упали въ обморокъ.

Иногда за чтеніемъ непосредственно слѣдовала декламация. Декламировались съ чувствомъ и жестами стихи Саши Чернаго:

„Кто живетъ подъ потолкомъ?

— Гномъ!“

Когда мать моего друга уходила по дѣламъ, мой другъ спрашивалъ:

— Идешь зарабатывать сантимы?

— Заработай только одинъ сантимъ. Намъ его на сегодня хватитъ. И возвращайся поскорѣе домой.

Потомъ начиналась дружеская бесѣда. Самая непріятная часть этой бесѣды была часть вопросительная.

— Отчего деревья зеленья?

— Отчего ротъ одинъ, а уха два? Надо два рта. Одинъ ѣстъ, а другой въ то же время разговариваетъ.

— Какъ лошади сморкаются?

— Отчего у собаковъ нѣтъ денегъ?

— Куда дѣвается огонь, когда дунуть на спичку?

— Кто такое иксъ?

— Иксъ — отвѣчаю — это вообще неизвѣстное.

— Его никто не знаетъ? Никто въ цѣломъ мірѣ... А, можетъ быть, все-таки кто нибудь?

— Нѣтъ, никто.

Съ послѣдней надеждой:

— Можетъ быть, Милюковъ знаетъ?



Уныло:

— Никто въ цѣлсмѣ свѣтѣ его не знаетъ...

Вздохъ:

— Вотъ, должно быть, скучно то ему!

Самая интересная часть его бесѣды фантастически-научная. Иногда въ проектахъ о реформахъ, я замѣчала у моего друга даже нѣкоторое вліяніе ленинизма и коммунизма.

— Хорошо бы устроить на улицѣ большую дырку, налить въ нее чернилъ. Кому нужно написать, тотъ сразу побѣждалъ бы на лицу и обмакнулъ перо.

Потомъ помню интересный проектъ о всеобщемъ образованіи у животныхъ:

— Послать укротителей (выговаривалось почему то „прекратителей“) прямо въ лѣса. Они бы тамъ и научили звѣрей всякимъ штукамъ

Обо всемъ, обо всемъ приходилось самому подумать — этому маленькому человѣку въ клѣтчатой юбкѣ.

Одѣть лошадей въ штаны.

Пересаживать деревья съ мѣста на мѣсто, чтобы имъ не было скучно.

Выстроить отдѣльный домикъ для всѣхъ мышей.

Чтобы мореплаватели собирали вѣтеръ, когда его много, въ бутылки, а потомъ, когда нужно, дули бы имъ въ паруса...

И вотъ друга моего отдали въ школу.

Черезъ три недѣли онъ пришелъ вытанувшійся, поблѣднѣвшій и очень ученый.

Въ особой, разграфленной тетрадкѣ, онъ умѣлъ писать чудесныя ровныя палочки — прямыя и косыя.

Изъ прочихъ наукъ онъ умѣлъ пѣть какую то очень шепелявую пѣсню. Можно было разобрать:

Petit arlequin

Dans sa robe de satin...

— Можетъ быть, что нибудь почитаете вслухъ? —  
— робко предложила я.

Другъ взглянулъ строго:

— Я еще не всѣ буквы знаю. Надо подождать!

— О!

— Я умѣю считать до пяти.

Какъ быть?

— „Кто живетъ подъ потолкомъ“?

Виѣсто яснаго отвѣта; „гномъ“, набитый шоколадной ротъ, презрительно пробормоталъ;

V'a des bêtrises!

— О! О! О!

Что же теперь будетъ дальше... Я уже не смѣла и вспомнить о пересадкѣ деревьевъ и „прекратителяхъ“. Пожалуй, и это окажется пустяками

Да. Холодная, суровая наука стала между нами.

— У васъ палочки выходятъ ужъ очень толстыя — рѣшаюсь замѣтить я, исключительно для того, чтобы показать, что и я не чужда области знанія.

Взглядъ снисходительнаго презрѣнія.

— Вы этого не знаете. Это знаетъ мадмазель Роше.

Кончено. Вырыть ровъ между нами. Тамъ наука, свѣтъ знанія, прочная основа — жизнь. А на томъ берегу я, съ Андерсеномъ, мышами, волками, принцессами и чудесами. Темная и жалкая.

Конечно, мнѣ правильно переданы слова, сказанныя на вокзалѣ, слова о вѣчной дружбѣ. Но дружба это равенство, а здѣсь я чувствую столько презрительной жалости...

Ну, хорошо, даже, если дружба, то вѣдь не въ этомъ дѣло. Не такъ ужъ я самолюбива. Нѣтъ, здѣсь другое..

— Маленькій другъ мой! Какъ спокойно уходите вы всѣ съ разграфленной тетрадкой подъ мышкой и даже не оглянитесь на того обиженнаго, брошеннаго, котораго только что обманули мечтой о крылатомъ лебединомъ счастьеѣ.

Маленькій другъ мой — живи!



## Гуронъ

Когда Серго приходилъ изъ лица, Линетъ отдыхала передъ спектаклемъ. Потомъ уѣзжала на службу въ свой Мюзикъ Холль.

По четвергамъ и воскресеньямъ, когда занятій въ школѣ нѣтъ, у нея бывали утренники. Такъ они почти и не видѣлись.

На грязныхъ стѣнахъ ихъ крошечнаго салончика припилены были портреты Линетъ все въ какихъ то перьяхъ въ цвѣтахъ и парикахъ, все безпокойные и непохожіе.

Знакомыхъ у нихъ не было. Иногда заѣзжалъ дядюшка, братъ Линетъ. Линетъ была теткой Серго, но ему конечно, и въ голову не могло придти величать ее тетушкой. Это было бы такъ же нелѣпо, какъ, напримѣръ, кузнечика называть бабушкой.

Линетъ была крошечнаго роста, чуть побольше одиннадцатилѣтняго Серго, стриженная, какъ онъ. У нея былъ нѣжный голосокъ, какимъ она напѣвала пѣсенки на всѣхъ языкахъ вселенной и игрушечныя ножки, на которыхъ она приплясывала.

Одинъ разъ Серго видѣлъ въ салончикѣ негра и лакированнаго господина во фракѣ. Лакированный господинъ громко и звонко дубасилъ по клавишамъ ихъ пыльнаго піанино, а негръ ворочалъ бѣлками, съ желтымъ припекомъ, похожими на крутыя яйца, каленныя въ русской печкѣ. Негръ плясалъ на одномъ мѣстѣ и только изрѣдка разворачивая мясистыя губы, обнажалъ золотой зубъ, — такой нелѣпый и развратный въ этой темной звѣриной пасти — и гнусилъ короткую непонятно-убѣдительную фразу, всегда одинаково, всегда ту же.

Линетъ, стоя спиной къ негру, пѣла своимъ милымъ голоскомъ странныя слова и вдругъ, останавливаясь, съ птичьей серьезностью говорила „кэу-кэу-кэу“. И голову наклоняла на-бокъ.

Вечеромъ Линетъ сказала:

— Я работала весь день.

„Кэу-Кэу“ и золотой зубъ была работа Линетъ.

\* \* \*

Серго учился старательно. Скоро отдѣлался отъ русскаго акцента и всей душой окунулся въ славную исторію Хлодвиговъ и Шарлеманей — гордую зарю Франціи. Серго любилъ свою школу и какъ-то угостилъ заглянувшаго къ нему дядюшку свѣже вызубренной длинной тирадой изъ учебника. Но дядюшка восторга не выказалъ и даже приунылъ.

— Какъ они все скоро забываютъ! — сказалъ онъ Линетъ. — Совсѣмъ офранцузились. Надо будетъ ему хоть русскихъ книгъ раздобыть. Нельзя же такъ.

Серго растерялся. Ему было больно, что его не хвалили, а онъ вѣдь старался. Въ школѣ долго бились съ его акцентомъ и говорили, что хорошо, что онъ теперь выговариваетъ какъ французъ, а вотъ выходитъ, что это-то и нехорошо. Въ чемъ-то онъ, какъ будто, вышелъ виноватъ.

Черезъ нѣсколько дней дядя привезъ три книги.

— Вотъ тебѣ русская литература. Я въ твоемъ возрастѣ увлекался этими книгами. Читай въ свободныя минуты. Нельзя забывать родину.

Русская литература оказалась Майнъ-Ридомъ. Ну что же — дядюшка, вѣдь, хотѣлъ добра и сдѣлалъ, какъ сумѣлъ. А для Серго началась новая жизнь.

\* \* \*

Линетъ кашляла, лежала на диванѣ, вытянувъ свои стрекозиныя ножки, и съ ужасомъ смотрѣла въ зеркальце на свой распухшій носъ.

— Серго, ты читаешь, а сколько тебѣ лѣтъ?

— Одиннадцать.

— Странно. Почему же тетя говорила, что тебѣ восемь?

— Она давно говорила, еще въ Берлинѣ.

Линетъ презрительно повела подщипанными бровями.

— Такъ что же изъ этого?

Серго смутился и замолчалъ. Ясно, что онъ сказалъ глупость, а въ чемъ глупость, понять не могъ. Все на свѣтѣ, вообще, такъ сложно. Въ школѣ одно, дома другое. Въ школѣ — лучшая въ мірѣ страна Франція. И такъ все ясно, — дѣйствительно, лучшая. Дома — надо любить Россію, изъ которой всѣ убѣжали. Больше что-то помнятъ о ней. Линетъ каталась на конькахъ и въ имѣніи у нихъ были жеребята, а дядюшка говорилъ, что только въ Россіи были горячія закуски. Серго не знавалъ ни жеребятъ, ни закусокъ, а другого ничего про Россію не слышалъ и свою національную гордость опереть ему было не на что.

„Охотники за черепами“, „Пропавшая сестра“, „Всадникъ безъ головы“.

Тамъ все ясное, близкое, родное. Тамъ родное. Сила, храбрость, честность.

„Маниту любитъ храбрыхъ“.

„Гуроны не могутъ лгать, блѣднолицый братъ мой. Гуронъ умретъ за свое слово“.

Вотъ это настоящая жизнь

„Плоды хлѣбнаго дерева, дополненные сладкими корешками, оказались чудеснымъ завтракомъ“...

— А что, они сейчасъ еще есть? — спросилъ онъ у Линетъ.

— Кто „они“?

Серго покраснѣлъ до слезъ. Трудно и стыдно произнести любимое имя.

— Индѣйцы!

— Ну, конечно, въ Америкѣ продаются ихъ карточки. Я видѣла снимки въ „Иллюстраціи“.

— Продаются? Значить, можно купить?

— Конечно. Стоитъ только написать Лили Карнавцевой и она пришлетъ, сколько угодно.

Серго задохнулся, всталъ и снова сѣлъ. Линетъ смотрѣла на него, пріоткрывъ ротъ. Такого восторга на чело-вѣческомъ лицѣ она еще никогда не видѣла.

— Я сегодня же напишу. Очень просто.

\* \* \*

Линетъ столкнулась съ нимъ у подъѣзда. Какой онъ на улицѣ маленькій со своимъ рванымъ портфельчикомъ.

— Чего тебѣ?

Онъ подошелъ близко и смущенно глядя вбокъ, спросилъ:

— Отвѣта еще нѣтъ?

— Какого отвѣта? — Линетъ торопилась въ театръ,

— Оттуда.. Объ индѣйцахъ.

Линетъ покраснѣла.

— Ахъ, да... Еще рано. Письма идутъ долго.

— А когда можетъ быть отвѣтъ? — съ храбростью отчаянія приставалъ Серго.

— Не раньше какъ черезъ недѣлю, или черезъ двѣ. Пусти же, мнѣ некогда.

— Двѣ...

\* \* \*

Онъ терпѣливо ждалъ и только черезъ недѣлю сталъ вопросительно взглядывать на Линетъ, а ровно черезъ двѣ вернулся домой раньше обычного и, задыхаясь отъ волненія, прямо изъ передней спросилъ:

— Есть отвѣтъ?

Линетъ не поняла.

— Отвѣтъ изъ Америки получила?

И снова она не поняла.

— Объ... индѣйцахъ.

Какъ у него дрожать губы, и опять Линетъ покраснѣла.

— Ну, можно ли такъ приставать? Не побѣжитъ же Лили, какъ бѣшенная, за твоими индѣйцами. Нужно подо-

ждать, вѣдь это же не срочный заказъ. Купить и при-  
шлетъ.

Онъ снова ждалъ и только черезъ мѣсяць рѣшился  
спросить:

— А отвѣта все еще нѣтъ?

На этотъ разъ Линетъ ужасно разсердилась.

— Отвяжись ты отъ меня со своими индѣйцами. Ска-  
зала, что напишу и напишу. А будешь приставать, такъ  
нарочно не напишу.

— Такъ, значить, ты не...

\* \* \*

Линетъ искала карандашъ. Карандаши у нея были  
всякіе — для бровей, для губъ, для рѣсницъ, для жилокъ.  
Для писанія карандаша не было.

— Загляну въ Сергушкино царство.

Царство было въ столовой, на сундукѣ, покрытомъ  
старомъ пледомъ. Тамъ лежали рваныя книжки, перья,  
тетради, бережно сложенные въ коробочку морскіе камушки,  
огрызокъ сургуча, свинцовая бумажка отъ шоколада, нѣ-  
сколько дробинокъ, драгоцѣннѣйшее сокровище земли —  
воронье перо, а въ центрѣ красовалась новенькая рамка  
изъ раковинокъ. Пустая.

Вся человѣческая жизнь Серго была на этомъ сун-  
дукѣ, теплилась на немъ, какъ огонекъ въ лампадкѣ.

Линетъ усмѣхнулась на рамку.

— Это онъ для своихъ идиотскихъ индѣйцевъ.. Ка-  
кая безвкусица.

Порылась, ища карандашъ. Нашла маленькій кален-  
дарь, который разносятъ почтальоны въ подарокъ на Но-  
вый годъ. Онъ былъ весь исчирканъ; вычеркивались дни,  
отмѣчался радостный срокъ. А въ старой тетрадкѣ стара-  
тельно исписанной французскими глаголами, на поляхъ по-  
русски коряво, „для себя“, шла запись:

„Гуруны великодушны. Отдалъ Полю Гро итальян-  
скую марку.

„Чѣресъ десять дней отвѣдъ изъ Америки!!!.

„Маниту любить храбрыхъ. Севодня нарошка остано-  
вился подъ самымъ ото.

„Еще шесть дней.“

„Купилъ за 4 francs“.

„Черезъ чегыре дая“.

„Она еще разъ реут être не написала, но ужѣ скоро  
напишетъ. Отвѣдъ будѣтъ чересъ quinze. Отмѣ. 4  
Mars. Гуроны тверды и тѣрпиливы.“

— До чего глупъ, до чего глупъ! — ахала Линеть.  
Это принимаетъ форму настоящей маніи. И какъ хорошо  
я сдѣлала, что не написала въ Америку.

---

## Была весна...

На второй день праздника купецъ Простовъ предо-  
ставилъ, какъ всегда, свою таратаечку въ распоряженіе  
Марельникова, смотрителя земской арестантской. Четыре  
года тому назадъ сидѣлъ купецъ Простовъ двѣнадцать  
дней за буйство и за эти двѣнадцать дней полюбилъ ти-  
хаго Марельникова, Ардальона Петровича, заходившаго  
къ нему въ комнату по вечерамъ тихо потренировать на  
гитарѣ:

— „Ты скоро меня позабудешь,  
А я никогда, никогда“.

И вотъ, съ тѣхъ поръ — уже четвертый разъ —  
даетъ купецъ Простовъ Марельникову на второй день  
праздника покататься въ своей таратаечкѣ.

И каждый разъ, проѣзжая по шоссе мимо монастыр-  
ской рощицы, вдоль покрытыхъ зеленой щетинкой полей,  
— думалось Марельникову, что онъ помѣщикъ, объѣз-  
жаетъ свои владѣнія и обдумываетъ хозяйство.



Человѣкъ онъ былъ городской, въ городѣ выросшій, дальше Боровицкаго уѣзда никуда не выѣзжавшій, но что подѣлаешь — жили въ душѣ его какія-то „озимыя“, „умолотъ“, „яровыя“ и „запашки“, и вотъ такъ, распустивъ вожжи, оперевшись разставленными ногами въ передокъ таратайки, вдыхая широкими ноздрями запахъ весенней воды, душистой, какъ разрѣзанный первый огурчикъ, а несетъ этотъ запахъ молодой вѣтерокъ, просѣиваетъ черезъ лиловую голую рощицу, вздуваетъ Марельникову бороденку — вотъ такъ, поглядывая на луга и овражки, до того чувствуетъ себя Марельниковъ настоящимъ хозяиномъ, что, окликни его какая-нибудь великая земная власть — исправникъ, губернаторъ:

— Эй, кто таковъ будешь?

Кликнулъ бы отъ всей оторопи своей:

— Землевладѣлецъ-съ!

И ничего въ этомъ нѣтъ удивительнаго. Много на Руси встрѣчалось и встрѣчается такихъ не то что мечтателей а духомъ живущихъ другой жизнью и порою столь напряженно и реально, что даже не знаешь, какое за такимъ человѣкомъ существованіе слѣдуетъ утвердить — помощникъ ли онъ провизора или реорганизаторъ русскаго флота?

Марельниковъ былъ землевладѣльцемъ. Купцова лошадь, новокупка, сытая, съ глубокимъ желобомъ посреди крупа, свободно и легко несла легкую таратаечку и не обращала никакого вниманія на сѣдока: сама прибавляла шагъ, гдѣ считала нужнымъ, сама переходила на ту сторону дороги, гдѣ посуше.

Марельниковъ нюхалъ веселый вѣтерокъ и думалъ о хозяйственномъ. Знаній у него по этой части не было, но зато были планы и совѣты.

— Пчельникъ завести. Всѣмъ совѣтую заводить пчельники. Образцовые. Безъ всякихъ трутней. Трутней отдѣлить, посадить на меньшій рационъ, а то и просто поморить голодомъ. Небось, живо работаютъ. Почему всѣ

твари приспособляются, одинъ тругень не можетъ. Эдакъ всякій распустится. Развалится, а другіе за него работай. Такъ вотъ что, если обратить на это серьезное вниманіе, то пчельникъ можно поднять до самыхъ высокихъ ступеней продукціи.

Изъ придорожной монастырской часовенки вышелъ мо нашекъ съ зеленой бороденкой, въ прозеленѣвшей ветхой ряскѣ, разглядѣлъ сытаго конька прижмуренными глазами и поклонился, держа двумя руками подаянную книжечку.

Марельниковъ тпрукнулъ на лошадь, досталъ пятакъ. Въ другое время не подаль бы. Ну, а помѣщикъ Марельниковъ подаетъ на Божій храмъ.

За часовенкой пора было повернуть къ городу. Поворачивать было страшновато — дорога узкая, не вывернуться бы на сторону. Но сытый конекъ — и откуда это ему? — живо понялъ въ чемъ дѣло, — и не успѣлъ Марельниковъ потянуть лѣвую вожжу, какъ тотъ самъ повернулся круто, чуть не на одномъ мѣстѣ и помчался домой.

— Непріятная лошадь, — думалъ Марельниковъ, крѣпко держась за вожжи.

Подѣзжая къ городу, онъ вдругъ насторожился и у третьяго дома, маленькаго, деревяннаго, облупленнаго, сѣраго, рѣшительно потянулъ вожжи, остановился и вылѣзъ.

Поднялся во второй этажъ, гдѣ въ сѣнцахъ на подоконникѣ стояли выставленныя на холодъ, хозяйственно-прикрытыя дощечками, крыночки, горшочки и латочки. Посмотрѣлъ, усмѣхнулся, пріосанился и дернулъ ручку звонка

Дверь открыла дѣвченка, опрометью кинувшаяся куда-то вбокъ. Потомъ чей-то голосъ сказалъ:

— Ишь! На ночь глядя...

И вошла она.

Въ сумеркахъ полное лицо ея казалось блѣднѣе, и глаза темнѣе и больше. Кромѣ того, на ней было что то

новое. невиданно прекрасное, вродѣ тюлеваго шарфика, завязаннаго подѣ подбородкомъ пышнымъ бантомъ.

— Христокъ Воскресе! — началъ было помѣщичьимъ бравымъ тономъ Марельниковъ и даже лихимъ вывертомъ расправилъ усы, собираясь цѣловаться, но сумерки, и томность, и блѣдность сразу подсѣкли и погасили его удалъ. И тихимъ голосомъ спросилъ онъ:

— Разрѣшите на минуточку, Лизавета Андреевна. . . только справиться о здоровьи.

— Спасибо! — печально отвѣтила хозяйка. — Я здорова.

И она вздохнула.

Тамъ, въ земскомъ кооперативѣ, стоя за кассой, въ перчаткахъ съ обрѣзанными кончиками пальцевъ въ гарусномъ платкѣ на плечахъ, она была совсѣмъ другой. Конечно, и тамъ она была очаровательна, но то, что здѣсь, — это даже черезчуръ.

-- Изволили быть у заутрени? — совсѣмъ ужъ робко спросилъ Марельниковъ.

— Мы же въ церкви видѣлись, чего же вы спрашиваете?

Марельниковъ смущенно кашлянулъ.

— Въ монастырѣ служба лучше. чѣмъ въ соборѣ. Хотя въ соборѣ дьяконъ преобладаетъ.

Хозяйка въ отвѣтъ только тихо вздохнула и, повернувъ лицо къ окну, стала смотрѣть въ прозрачное зеленое небо.

Марельниковъ снова кашлянулъ.

— А я сегодня, знаете ли, — проѣхался немножко...

Она молчала, и онъ прибавилъ уже совсѣмъ безнадежно и отчаянно:

— По-помѣщичьи...

И замолкъ тоже.

Потомъ она, не поворачивая головы, сказала:

— Получила вчера письмо отъ Клуши. Она сама ушла изъ труппы, такъ что для меня амплуа уже найти не сможетъ.

И снова замолчала.

Марельниковъ притихъ и слушалъ душой ея думы.

Думала она о томъ, какъ прїѣзжала два года тому назадъ фельдшера Клуша, бывшая подруга ея по гимназіи, теперь актрисса, прїѣзжала съ труппой, какъ заболѣла одна изъ актрисъ, и Клуша предложила ей, Лизаветѣ Андреевнѣ, попробовать свои силы. И сыграла она въ пьесѣ „Съѣхались, перепутались и разѣхались“ горничную такъ хорошо, что даже самъ земскій начальникъ признавался открыто, что совсѣмъ ея не узналъ. Потомъ труппа уѣхала. А Лизавета Андреевна осталась брошенная. Клуша какъ будто общала... И вотъ два года прошло, два года.

Марельниковъ двинулъ стуломъ, и рядомъ въ углу что-то отозвалось звенящимъ стономъ.

— Гитара!

Онъ всталъ и на цыпочкахъ сдѣлалъ шагъ, взялъ гитару, сѣлъ. Тихо заговорили струны, подъ толстыми осторожными пальцами. Запѣлъ убѣдительнымъ говоркомъ въ носъ.

— „Ты будешь. Агнія томиться,  
Ты будешь ужасно страдать.  
Ты будешь рыдать и молиться,  
Но съ любовью нельзя совладать“...

И повторили струны убѣдительнымъ говоркомъ:

— „Нельзя совладать“...

— А скажите, Лизавета Андреевна, — вдругъ сказалъ онъ и замолчалъ, испугавшись своего громкаго голоса. Но надо было продолжать, потому что она повернула голову.

— Скажите, вы согласились бы быть женой помѣщика?

Она покачала головой.

— Зарыть себя навсегда въ деревнѣ? Навѣки отказаться отъ мечты? Я знаю — жизнь актриссы тяжела.

Интриги. Закулисныя дразги. Но человекъ, который посвятилъ себя искусству, долженъ быть выше этого. И долженъ быть прежде всего свободенъ.

Марельниковъ всталъ, съ шумомъ отодвинулъ стулъ и голосомъ, какимъ говорятъ въ большой кампаніи, бодримъ и громкимъ, сказалъ:

— Разрѣшите откланяться, милѣйшая Лизавета Андреевна... Съ самыми лучшими пожеланіями. Всего добраго и до скорого-съ! Хе-хе!

Она проводила его до сѣней, онъ снова расшаркался и громко застучалъ сапогами по лѣстницѣ.

На дворѣ было уже темно, и въ небѣ ясно различалась серебряная въ зеленыхъ лучикахъ звѣзда.

— Холодно!

Купцовъ конекъ задумался у крыльца, слившись съ сумерками, сталъ тихій. Звякнулъ подковой по мостовой.

На поворотѣ Марельниковъ обернулся.

Въ сѣромъ домикѣ засвѣтилось теплымъ жилымъ оранжевымъ свѣтомъ окошечко.

— Живетъ! Ну что-жъ! Пусть. Пусть живетъ...

Онъ тронулъ конька вожжей и уже бравымъ помѣщикомъ крякнулъ молодецки:

— Э, чего тамъ, братъ! На актрисахъ, братъ, не женятся!

И, колыхнувшись на ухабѣ, повернулъ къ купцову дому сдавать таратаечку.

— До будущаго, значить, года? Хе-хе! До будущаго...



## Гудокъ

Поздно ночью, когда Парижъ стихаетъ, тянется по улицамъ вереница телѣгъ, груженныхъ овощами. Везуть ихъ лошади, стуча о камни крѣпкими подковами и этотъ странный здѣсь, въ Парижѣ, стукъ — даетъ мнѣ Россію. Этотъ стукъ былъ одной изъ мелодій нашего города, дѣловой и грубый лѣтомъ, когда сливался съ дребезжаніемъ дрожекъ и грохотомъ груженнаго желѣза, и такой страстно-тревожный, когда пробивая водянистый послѣдній снѣгъ, звенѣлъ обѣщаніемъ весны, особенно, звонкій на разсвѣтѣ когда еще спятъ трудъ и забота и еще не спитъ счастье.

А позже, когда взойдетъ солнце — помните, чирканье дворницкихъ скребковъ, счищающихъ снѣгъ?

Тоже нашъ русскій звукъ, мелодія нашего города.

Но самое вѣчное, самое незабываемое для меня, это гудокъ, разсвѣтный, фабричный гудокъ, долгій, тоскливый, безысходный...

Я помню его очень рано. Вижу себя маленькимъ ребенкомъ, въ кровати съ плетеными стѣнками. Я тогда часто просыпалась на разсвѣтѣ, въ это самое страшное время, когда тихая тьма ночи начинаетъ клубиться туманомъ, шевелится тѣнями, ползетъ прочь отъ мутнѣющаго окна, забивается въ углы, за шкафъ, за лежанку, колышется, зыбится. Борются свѣтъ и мракъ, Ормуздъ и Ариманъ, и злая рать черной силы бьется умирая и душитъ тоской.

Помню, какъ лежала я, не смѣя шевельнуться, и даже холодно было глазамъ, такъ широко они были раскрыты, смотря въ этотъ безшумный, жуткій хаосъ разсвѣта.

Помню, самое страшное было на лѣсенкѣ, на трехъ ступенькахъ высокаго порога. Тамъ чернѣлъ большой мутный котелъ, клубился дымъ и безногія, бородатые тѣни нагибались и мѣшали въ немъ длинными костылями. Тихо.

И, вдругъ, несказанной тоской ущемивъ душу, долгій, зловѣщій, голодный, вливался въ жуткія видѣнія разсвѣта вой фабричнаго гудка.

И тогда оцѣпененіе мое проходило, смѣнялось острымъ ужасомъ, и я садилась, съжившись комомъ, и кричала звѣринымъ крикомъ безъ словъ:

— А-а-а-а-а!

Я знала, что это гудокъ, что онъ зоветъ на работу фабричныхъ.

— Чего боишься, глупая, — ворчала няня. — Это рабочіе поднимаются.

Но здѣсь, глядя на клубящіяся враждебныя тѣни, я слышала въ немъ ихъ вой, волчій вой горя и злобы

Потомъ, черезъ много лѣтъ, какъ странно услышала я его снова...

Это было весной въ Петербургѣ. Помню слезливый, липкій, похожій на насморкъ день, не холодный, но знобкій, когда трясеть человѣка въ самой теплой шубѣ. Бродимъ по улицамъ тихо, какъ разсвѣтныя тѣни, колышемся на мѣстѣ, тянемся вдоль и поперекъ. Улица тиха, пуста и свободна, и мы можемъ медленно и зыбко ходить прямо по мостовой. И всѣ молчатъ, но молча понимаютъ другъ друга по какимъ-то неуловимымъ движеніямъ. Такъ разговариваютъ лошади, стоя рядомъ въ упряжкѣ — ушами что л

Всѣ мы ждемъ чего то, но не показываемъ другъ другу, что ждемъ. Точно, по какому то тайному договору, должны притворяться.

Сизая мгла проплываетъ въ арку Гостиннаго Двора, слѣпого, глухого, съ закрытыми окнами. Часы на городской Думѣ показываютъ 3. Но какъ мутно, какъ тихо идетъ день. Беззвучный. И вдругъ, тихій, долгій, безысходный вой. Колыхнулъ ужасомъ сизыя тѣни. Это гудокъ. Онъ пришелъ днемъ этотъ вопль моихъ разсвѣтныхъ призраковъ. Пришелъ днемъ, вошелъ въ нашъ день, въ нашу жизнь. Когда мы замолчали, онъ закричалъ за насъ,

И чьи-то посинѣвшіе губы повторили слова слышанныя давно:

— Это рабочіе поднимаются.

Гудокъ выль, тянулъ, звалъ, собиралъ.

Заклубились разсвѣтныя тѣни, выползли уроды, нежить моихъ зловѣщихъ предчувствій, тоскливый ужасъ моей далекой дѣтской души.

Гудокъ созывалъ.

Приползли нищіе и калѣки недавней войны, терзая стыдомъ и жалостью; сбѣжались убійцы, палачи, бѣсноватые изъ тюремъ, изъ больницъ и сумасшедшихъ домовъ и среди нихъ — самыя страшныя — здоровые и разумные.

Замѣшали мутное варево моихъ разсвѣтныхъ кошмаровъ. Застывшіе, не смѣя шевельнуться, глазами широко „до холода въ нихъ“ раскрытыми, смотрѣли не дыша.

Помню записанное тогда, отрывки помню:

Бродятъ страшныя тѣни

По мертвому городу.

Ноги обрублены по колѣни,

Костыли наступаюгъ на бороду...

Трубить моторъ.

Слѣпятъ фонари.

Летятъ упыри.

Спѣшатъ до зари —

Таковъ ихъ обычай —

За свѣжей добычей.

— А-а-а... гдѣ-то стрѣльба-а...

— Ну, что же,

Упокой, Боже.

Душу убиеннаго раба...

...На Марсовомъ полѣ парадъ:

Шагаютъ, за рядомъ рядъ,

Тѣни солдатъ,

Блеститъ шитье ихъ мундировъ.

— Ать! два! Ать!

Хорошо шагать!



Равненье держать,  
Подъ команду разстрѣлянныхъ командировъ!  
Шагаютъ за рядомъ рядъ,

Тѣни солдатъ

Арміи старой, убитой ..

— А кто тамъ впереди,

Съ крестомъ на груди

Стоить окруженный свитой?

— Нѣтъ, это лунныи свѣтъ...

Тамъ никого нѣтъ.

Нѣтъ...

„А подь землей шепчуть трупы;

Были мы глупы,

Вотъ насъ и обманули —

Въ лобъ по пулѣ,

Да по сажени земли.

— Вре-ошь! Мы не на долго легли.

Мы еще встанемъ —

Дѣлать станемъ...

Дѣли-и-ить...”

Клубится разсвѣтъ...

Желтый скелеть

На стѣнки клеить декреть:

„Про-ле-та-риать,

Спѣши старъ и младъ,

Подъ серпъ и молотъ,

Всѣ равны,

Всѣмъ равные чины,

И по куску ветчины“.

Подписано: „Голодъ“.

— Господи, Ты, Котораго нѣтъ,

Покажи намъ свѣтъ!

## Жанинъ

Теплый, душистый воздух дрожить отъ жужжащихъ электрическихъ сушилокъ. Запахъ пудры, духовъ, жженныхъ волосъ и бензина томить, какъ полдень въ цвѣтущихъ джунгляхъ.

Двѣнадцать кабинокъ задернуты плюшевыми портьерами. Портьеры шевелятся, дышутъ. Тамъ, за ними творятся тайны красоты — рождаются Венеры изъ пѣны... мыльной.

Мосье Жоржъ, высокій, съ сѣдѣющими височками, больше похожъ въ своемъ бѣломъ халатѣ на хирурга, чѣмъ на парикмахера, свѣтски улыбаясь, откидываетъ портьеру и приглашаетъ кліентку.

— Чья очередь?

Толстая старуха, тряся щеками, подымается съ кресла.

— Моя.

— Завивка?

— Нѣтъ, — отвѣчаетъ старуха басомъ. Остригите меня мальчикомъ.

Мосье Жоржъ почтительно пропускаетъ ее въ кабинку.

Мадемуазель Жанинъ, одиннадцатая маникюрша, долго смотреть имъ вслѣдъ. Ей безразлично, что дама, которую сейчасъ будетъ стричь мосье Жоржъ, стара и безобразна. Онъ будетъ дотрагиваться до ея волосъ своими бѣлыми ласковыми руками и Жанинъ ревнуетъ.

Можетъ быть дама скажетъ ему: „Мосье Жоржъ, вы такъ прекрасны, что я предлагаю вамъ квартиру, автомобиль, и огромное жалованье, а кромѣ жалованья я выйду за васъ замужъ и назначаю васъ своимъ наслѣдникомъ“.

— Мадемуазель! Вы мнѣ дѣлаете больно! Не сжимайте такъ мой палецъ!

Жанинъ смотритъ на свою кліентку и не сразу понимаетъ. Ахъ да! Маникюръ.

— Мадамъ хочетъ немножко лаку?

— Я уже два раза отвѣтила вамъ, что не хочу.

У кліентки сердитые круглые глаза. Она не дастъ на чай.

Жанинъ изящно улыбается и начинаетъ мило щебетать.

— Сегодня чудесная погода. Мадамъ любитъ хорошую погоду? Да, да, всѣ наши кліентки любятъ хорошую погоду. Даже странно. Хорошая погода очень пріятна. А когда дурная погода, тогда идетъ дождь. А лѣтомъ бываетъ гораздо жарче, чѣмъ зимой и солнце бываетъ...

Она запнулась.

Въ дверяхъ, между складками драпировки, внимательно смотритъ на нее косыми глазами желтое лицо.

— Ли!

Лицо скрылось.

Какъ смѣетъ онъ смотрѣть на нее! Вѣдь она отказала ему наотрѣзъ. Быть женой китайца! Правда, онъ много зарабатываетъ. Онъ дѣлаетъ педикюръ. Всѣ въ парикмахерской смѣются и дразнятъ ее.. Мосье Жоржъ не дразнитъ. Онъ сдѣлалъ хуже. Онъ серьезно сказалъ:

— Что жъ, Ли хорошо зарабатываетъ. Объ этомъ стоитъ подумать.

Это было больнѣе всего...

— Довольно мадемуазель! Смотрите, вы мнѣ совсѣмъ криво срѣзали ногти!

Какіе круглые глаза у этой кліентки!

Морисъ, молоденькій помощникъ мосье Жоржа, проходитъ мимо. Онъ блѣденъ и шепчетъ дрожащими губами.

Это значитъ что сегодня суббота и Жоржъ посылаетъ бѣднаго мальчика брить бородатую консьержку.

О-о, сколько горя на свѣтѣ!

Клиентка встаетъ.

Жанина идетъ за ней къ кассѣ. Въ длинныхъ зеркалахъ отражается ея тонкая фигурка, стройныя ножки въ лакированныхъ башмачкахъ.

Можетъ быть сегодня придетъ дѣлать маникюръ молодой американскій миллиардеръ; онъ будетъ выразительно смотрѣть на нее, а потомъ скажетъ „эу“ и надѣнетъ ей на палецъ обручальное кольцо. У нихъ будетъ свой особнякъ въ паркѣ Монсо и мосье Жоржъ будетъ приходить причесывать ее на домъ.

— Мосье Жоржъ? Пусть подождетъ. Я съ моимъ мужемъ американцемъ пью наше утреннее шампанское.

— Мамзель Жанинъ! Маникюръ!

Ее посылаютъ въ ту самую кабинку, гдѣ только что щелкалъ ножницами мосье Жоржъ.

Толстая старуха, обстриженная, съ опущенными жирными щеками, стала похожа на деревенскаго кюре. Она смотритъ на свое отраженіе въ зеркалѣ, а мосье Жоржъ извивается надъ ней, какъ шмель надъ розой, жужжа электрической машинкой.

— Мадамъ чувствуетъ себя легче? Моложе? Взгляните — совсѣмъ мальчикъ!

Онъ подаетъ ей ручное зеркало и мадамъ, ухвативъ его толстой лапой, игриво поворачиваетъ голову и смотритъ на деревенскаго кюре.

— Восхитительно! — рѣшаетъ за нее мосье Жоржъ.

Какъ онъ умѣетъ смотрѣть! Въ его глазахъ неподдѣльный восторгъ.

Жанинъ беретъ дрожащими руками толстую, красную лапу и начинаетъ, изящно улыбаясь, подтачивать ей ногти.

— Мадамъ любить остро или кругло? У мадамъ такія прелестныя ручки. Вотъ, если бы у меня были такія! Мосье Жоржъ насмѣшливо улыбается

— Не будьте завистливы, мадемузель!

Жанинъ весело смѣется, какъ будто услышала что то

необычайно остроумное.

„О! свинья! свинья! свинья!“ злобно думает она и улыбается безпечно и кокетливо.

Въ сосѣдней кабинкѣ кто то страстно и пламенно убѣждаетъ слушателей, что запахъ сирени не идетъ къ стриженнымъ волосамъ.

— Только шипръ! Только шипръ! Вообще — мужскіе духи!

\* \* \*

— Вы сегодня двумъ кліенткамъ порѣзали пальцы! строго говорить хозяйка.

Жанинъ тупо смотритъ въ сторону.

На ней кокетливая шляпка, изящное манто... Въ подрисованныхъ глазахъ мерцаетъ мечта объ американцѣ и тоска о мосье Жоржѣ, а подмазанный ротикъ улыбается какъ будто достигъ всего.

Она медленно выходитъ изъ парикмахерской.

Можетъ быть Жоржъ выйдетъ одновременно и до угла они пойдутъ вмѣстѣ...

На улицѣ темно. Громко смѣясь, пробѣжали Клодинъ и Мишлинъ. Передъ витриной, гдѣ выставлены куклы въ модныхъ прическахъ, кривляется коротконогая тѣнь. Это китаецъ Ли дразнитъ восковыхъ красавицъ, посылаетъ имъ поцѣлуи, высовываетъ языкъ.

Темно. Дождь дрожитъ бисерными ниточками передъ окномъ. Хлопнула дверь... Мосье Жоржъ? Мосье Жоржъ! Ушелъ...

## Вѣтеръ

Вѣтеръ дуетъ, дуетъ въ трубу — гонитъ дымъ въ комнату, стучитъ въ ставни, поетъ, плачетъ. Дрожитъ хлипкое парижское окно, дребезжитъ задвижкой. Газета на столѣ шевелится, а въ газетѣ вѣсти:

„...У береговъ Бретани погибли моряки... Много лодокъ не вернулось... Многихъ судовъ не досчитываются... Вѣтеръ крѣпнетъ... гибнуть... подойти къ нимъ невозможно...“

„Рыбаки-бретонцы“ — для насъ это звучитъ, какъ слово изъ французскаго романа. Живого человѣка за этимъ словомъ мы не чувствуемъ.

Но вотъ подошла къ окну моя служанка, сложила на груди тяжелыя рабочія руки и долго смотрѣла на черныя тучи и долго слушала.

Тучи буревыя, трехцвѣтныя. Черная стѣна недвижна и по ней плывутъ бурныя горы, а ихъ обгоняютъ свѣтлодымныя, легкія, быстрыя облака, крутятся, вьются, бѣгутъ летать. Свистать вѣтеръ, гонитъ, бьетъ ихъ бичемъ.

Смотритъ на нихъ тяжелыми глазами Марія Бокуръ. — О, какъ сегодня страшно въ морѣ! Вотъ такія тучи бѣжали, когда погибъ мой отецъ. А черезъ два года волны унесли двоюроднаго брата. Онъ былъ такой сильный, онъ продержался на водѣ четыре часа. Вся деревня была на берегу. И нельзя было подойти. Они всѣ утонули. И я его видѣла. Мнѣ все казалось, что онъ кричитъ. Но это вздоръ. Крика нельзя было бы слышать. Да они никогда и не кричатъ, тѣ, которые тонуть. У нихъ не хватаетъ дыханія на крикъ. Это вѣтеръ стоналъ, вѣтеръ.

Смотрю на ея широко раскрытыя глаза и чуть наклоненную, прислушиваясь, голову и вспоминаю такіе же глаза въ далекой, далекой степи, въ занесенной снѣгомъ усадбкѣ, въ метель, въ снѣжную пургу.

Эти глаза были на лицѣ очень блѣдной женщины съ ребенкомъ на рукахъ. Она куталась въ оренбургскій платокъ, куталась отъ страха, а не отъ холода и ребенка прижимала къ себѣ. И большая собака сидѣла на полу, у ея ногъ, тоже встревоженная, насторожившая острия уши.

Вѣтеръ вылъ, стучалъ въ стѣны, плакалъ тонкимъ свирѣльнымъ голосомъ. Ребенокъ прижимался къ матери, косилъ круглые глаза на черное окно, протягивалъ коротенькую мягкую ручку и говорилъ:

— Тамъ!

— Я не могу къ этому привыкнуть — тоскливо шептала женщина. — Какъ они могутъ здѣсь жить? Вы слышите? Вы слышите, какой зловѣщій вой? Смотрите, какъ ребенокъ чувствуетъ... онъ всегда такой веселенькій, а сейчасъ какой ужасъ у него въ глазахъ. А собака... Какъ она насторожилась. Чего-же она боится? Значить есть чего бояться. Животныя чувствуютъ. Какая тоска! Отчего вѣтеръ всегда тоскуетъ? Откуда онъ несетъ эти крики и стоны и плачъ? Гдѣ онъ схватилъ эти вопли о помощи, этотъ вой на смерть замученныхъ? Онъ летѣлъ надъ гибнущими кораблями, надъ замерзающими караванами въ голодныхъ степяхъ, мимо стонущихъ матерей, мимо плачущихъ дѣтей, мимо волчьей стаи, воющей надъ умирающими солдатами, брошенными на полѣ сраженія, онъ качалъ трупъ повѣшеннаго на скрипучей качели-виселищѣ, онъ схватилъ подъ крестомъ на кладбищѣ вопль послѣдняго отчаянія и несетъ, все несетъ къ намъ, стучитъ въ двери, въ окна — откройте! впустите! Слышите, какъ стучитъ? Настойчиво стучитъ... Слышите?

— Тамъ! — сказалъ маленькій, протянувъ къ окну ручку, и заплакалъ.

\* \* \*

Марія смотритъ на тучи, слушаетъ вѣтеръ.

— Много рыбаковъ погибло. Это больше всего наши бретонцы. Бретонцы всѣ моряки. Когда вѣтеръ воетъ, мнѣ

все кажется, что это ихъ крики доносятся. Но это вздоръ — они не кричатъ. Пьеръ былъ такой сильный,.. боролся съ волнами четыре часа. Я была совсѣмъ молоденькой... Можетъ быть, я была бы потомъ его невѣстой. Он ne sait jamais... О, какой вѣтеръ. Notre Dame de la Garde, priez pour nous!

\* \* \*

Notre Dame de la Garde. Матерь Божія Охраняющая.

Я была въ ея церкви въ Марсель.

Весь храмъ сложенъ изъ желтаго камня, вырубленнаго изъ той же скалы, на которой стоитъ. Онъ органически слитъ съ нею, изъ нея рождается. Гигантская фигура Мадонны увѣнчиваетъ его фасадъ. Вся статуя, ярко вызолоченная, съ тяжелой, высокой короной на головѣ. Лицо Мадонны повернуто къ морю. Она смотритъ, сторожитъ, охраняетъ. Она видитъ далеко уходящія суда и ея вѣрное племя — марсельскіе мореходы — долго видятъ Ее. Сверкающая корона — послѣдній для нихъ береговой привѣтъ.

Вѣтеръ свиститъ на паперти. Онъ встрѣчаетъ васъ на первыхъ же ступеняхъ лѣстницы и, какъ хозяинъ, ни на минуту не оставляя, провожаетъ васъ по своимъ владѣніямъ. Храмъ состоитъ изъ двухъ частей. Нижняя темная, древняя, глухо гудитъ. Верхняя — вся во власти вѣтра. Вы съ трудомъ открываете тяжелую дверь, которая жутко захлопывается за вами. Свистъ, вой, гулъ, стоны колоколовъ.

— Здѣсь всегда вѣтеръ — говоритъ тихая монашенка продающая бѣлыя свѣчи съ голубымъ ободкомъ, цвѣта, Мадонны.

Вѣтеръ злится, жалуется, плачетъ, стучитъ чѣмъ то тяжелымъ по крышѣ. Пугаетъ.



— Вотъ я какой! Молитесь о тѣхъ, кто сейчасъ въ морѣ

Захлопнулась дверь. Здѣсь онъ насъ не достанетъ. Стонетъ въ колоколахъ. Стучить, гудить, ломится.

Въ глубинѣ храма лунно свѣтится та же Мадонна. Но изъ массивнаго литого серебра. Направо — жертва ей — — цѣлый костеръ бѣлыхъ свѣчъ.

Свѣчами завѣдуетъ маленькій, бритый старичекъ. Онъ все время хлопочетъ, ворчитъ, бормочетъ, переставляетъ ихъ съ мѣста на мѣсто. Сниметъ одну, посмотритъ достаточно ли погорѣла, отложить въ сторону, или покачаетъ головой и снова прилѣпитъ къ паникадилу. Это его хозяйство. Онъ что то понимаетъ, намъ неизвѣстное. Онъ ворчитъ на упрямую свѣчку, которая не хочетъ держаться прямо. Высокую, яркую, онъ погладилъ своей трясущейся сухенькой ручкой. Маленькій огарокъ онъ снялъ, но призадумался, кивнулъ головой и прилѣпилъ снова.

Видно нужно было чьей-то молитвѣ въ этомъ огаркѣ еще потеплиться. Старичекъ это знаетъ; руками, глазами старыми чувствуетъ теплые огоньки, какіе они, какой молитвой зажглись...

Въ храмѣ темно. Весь костеръ бѣлыхъ свѣчъ озаряетъ только небольшой придѣлъ. А тамъ, въ глубинѣ чуть блеститъ лунно-серебряная Мадонна и подъ темными сводами странныя тѣни — тѣни черныхъ кораблей. Это тоже жертвы Мадонны. Это модели тѣхъ судовъ, которыя она спасла отъ гибели въ подвластномъ ей морѣ

Вѣтеръ стучитъ въ дверь, точно зоветъ уйти. Вотъ загудѣли его шаги по лѣстницѣ. Взбѣжалъ, тронулъ колокола, застоналъ, заплакалъ свирѣлюю.

Какъ жутко въ такомъ храмѣ подъ черными тѣнями кораблей молиться о близкихъ, плавающихъ и путешествующихъ, когда воетъ и ломитъ скалы тотъ, въ чьей власти они сейчасъ такъ жалки и малы.

Отдаю за нихъ Мадоннѣ мою малую жертву — бѣлую свѣчку съ голубымъ ободкомъ.

Старичекъ привялъ ее своей древней рукой, поставилъ, отошелъ и, снова вернувшись, переставилъ ее ближе. Онъ что то знаетъ...

— Notre Dame de la Garde! Матерь Божія Охраняющая! Спаси ихъ!



## Золотой наперстокъ

Я увидѣла его вчера въ окнѣ антикварнаго магазина, эту совсѣмъ забытую мною вещицу, ненужную, много лѣтъ моей жизни прожившую около меня среди ленточекъ, пуговокъ, пряжекъ и прочей ерунды женскаго обихода брошенной мною въ Россіи.

Это крошечный золотой наперстокъ, „первый“, который годится только для пальчика семилѣтней дѣвочки.

Я долго смотрѣла на него — онъ или не онъ? Черезъ стекло трудно было разобрать рисунокъ бордюра и не видно было вырѣзанной подписи.

И вѣдь ничего не было бы удивительнаго, если бы это оказался онъ. Многіе находятъ теперь старыя свои вещи въ европейскихъ магазинахъ.

Рѣшила взглянуть на него.

Вошла. Волновалась ужасно — даже удивительно — вѣдь никогда не былъ онъ мнѣ особенно милъ и дорогъ этотъ крошечный золотой наперстокъ.

Темные тихіе предметы въ этомъ магазинѣ, каждый со своей исторіей, всегда печальной — ибо иначе не были бы они здѣсь — собранные изъ разныхъ мѣстъ, изъ разныхъ вѣковъ, дремлютъ, какъ старые, усталые люди, нашедшіе покой и уваженіе. Вы замѣтили, что въ такихъ лавкахъ никогда не говорятъ громко? И звонокъ у двери звякаетъ коротко и глухо. Склепъ. Склепъ вещей.

— Можно взглянуть на маленькій золотой наперстокъ?

Падагрическая рука съ сухой чешуйчатой кожей по-даетъ мнѣ кривыми пальцами крошечную вещицу...

— Нѣтъ. Не онъ.

На томъ бортикѣ былъ въ листикахъ. И, главное, надпись неровными писанными полустертыми буквами вырѣзанное: „A ma petite Nadine“.

Надписи нѣтъ. Это не онъ.

Я ухожу.

Это не онъ, но все равно — этотъ чужой, чуть чуть похожій, далъ мнѣ все, что могъ бы дать онъ самъ: милую печаль зыбкихъ воспоминаній, такихъ неясныхъ, „мрѣ-ющихъ“, какъ въ лѣсной прогалинѣ въ солнечное утро испареніе согрѣвающейся земли: дрожить что то въ воз-духѣ, ни тѣнь, ни свѣтъ — эманация самой земли.

\* \* \*

Квадратный ларчикъ изъ темнаго душистаго дерева. Надъ замочкомъ серебряная пластинка, на ней вырѣзана корона, подъ короной буквы. Какія буквы — не помню.

Ларчикъ трогать не позволяютъ — въ немъ опасные предметы: ножницы, иголки и шелковые моточки. Ножницы могутъ обрѣзать палецъ, иголки уколоть, шелковые моточки — спутаться. И среди этихъ опасныхъ предметовъ — крошечный золотой наперстокъ.

— Когда тебѣ исполнится семь лѣтъ, я отдамъ тебѣ этотъ наперстокъ, — говоритъ мнѣ моя бабушка.

Ларчикъ — ея рабочій ящикъ.

— Этотъ наперстокъ, — продолжаетъ бабушка, — подарила мнѣ моя тетушка, grande tante, когда мнѣ исполнилось семь лѣтъ.

Меня очень удивило, что бабушкѣ могло быть когда то семь лѣтъ.

Въ гостиной висѣлъ ея портретъ: черные, тугіе

блестящіе локоны, голыя плечи въ кружевной „бертъ“ и роза въ рукѣ. Можетъ быть, это тогда ей было семь лѣтъ?

— Отчего же наперсточекъ мнѣ, а не Машѣ? — спрашиваю я. — Маша старше.

— Оттого что на немъ вырѣзано мое имя, а тебя зовутъ такъ же, какъ меня. Поняла? Тутъ вырѣзано: „А ma petite Nadine“...

Потомъ помню толстую канву, по которой вышиваю шерстью крестики. На среднемъ пальцѣ моей правой руки — онъ. Золотой наперсточекъ.

— Мнѣ его подарила моя тетушка, — говоритъ бабушка. Tante Julie.

Она была въ молодости такая хорошенькая, что ее называли „Жолиша“ Мнѣ рассказывали, что когда Бонапартъ шелъ на Москву, онъ какъ разъ долженъ былъ проходить черезъ наше имѣніе, что въ Могилевской губерніи, около Смоленска. И такъ какъ Жолиша была очень хороша, то конечно Бонапартъ увлекся бы ею и пошли бы всякіе ужасы.

Мнѣ представилось, что „увлекся“ значитъ ужасно кричить и топаетъ ногами и никакъ его не успокоишь. И я вполнѣ сочувствую прабабушкинымъ страхамъ.

И вотъ, та сѣге, посадили Жолишу въ погребъ и продержали тамъ десять дней, а слугамъ сбъявили, что она уѣхала, чтобы не было предательства. Однако Бонапартъ прошелъ стороной.

Бонапартъ для меня слово знакомое.

— Бабушка — говорю я, — я знаю про Бонапарта:

„Бонапарту не до пляски.

Растерялъ свои подвязки.

И кричить: pardon, pardon!“

Это вѣрно, когда Жолишу прятали?

Но бабушкѣ пѣсенка не нравилась.

— Не надо этого повторять. Это очень грубо. Онъ былъ императоромъ. И откуда вы берете такіе пустяки?

И были еще рассказы, все въ то время, когда крошечный наперстокъ еще не сталъ тѣсенъ для моего пальца.

Разсказывала бабушка какое было въ ея время хозяйство. Какъ крѣпостнымъ дѣвкамъ расчесывали косы съ проборомъ на затылкѣ, чтобы видно было чистая ли шея. Платья, они носили очень узкія изъ домотканины. Ситецъ считался большой роскошью, потому что его надо было покупать.

— Твой дѣдушка былъ мотъ. Онъ вдругъ всю дворню въ ситецъ нарядилъ. Тогда много объ этомъ его поступкѣ было пересудовъ.

Вообще тогда почти ничего не покупали. Все было свое. Изъ хозяйственныхъ продуктовъ покупали только чай и сахаръ. Ключикъ отъ сихъ рѣдкостей носила прабабушка на шеѣ.

— Дѣтямъ чаю никогда не давали. Чай тогда былъ очень вреднымъ. Всѣ пили сбитень. Это очень было полезно. Приготовляли его изъ горячей воды съ медомъ и разными спеціями.

Бальные туалеты для дѣвицъ въ бабушкину молодость шили изъ тарлатана — нѣчто вродѣ твердой кисеи. Красиво и дешево.

Зиму семья жила въ имѣніи въ Витебской губерніи. Лѣто — въ Могилевской.

Переѣзжали цѣлымъ поѣздомъ.

Впереди въ каретѣ — бабушка съ дѣдушкой.

Потомъ въ огромномъ дормезѣ бабушкина мать (та самая, съ ключикомъ отъ чая на шеѣ) и четыре ея внучки.

— Среди нихъ Варетта, твоя мама.

Потомъ коляска съ гувернерами и мальчиками.

Потомъ коляска съ гувернантками и ихъ дѣтьми.

Потомъ повара и прочая челядь.

Разъ проѣзжали по новой дорогѣ мимо большой усадьбы. Хозяинъ выслалъ дворецкаго просить, чтобы заѣхали отдохнуть. Заѣхали, посчитались съ хозяиномъ родней — родня сразу нашлась — и вотъ въ тотъ же вечеръ — балъ.

На хорахъ свои крѣпостные музыканты — кто шорникъ, кто портной, кто кузнецъ — выбирали способныхъ къ музыкѣ — всѣ въ парадныхъ кафтанахъ...

Открылся балъ полонезомъ. Въ первой парѣ хозяинъ дома съ бабушкой. За нимъ хозяйка съ дѣдушкой. Потомъ всѣ дѣти по возрасту, за ними родственники, приживалы, гувернеры и гувернантки. Прогостили нѣсколько дней.

— Потомъ хозяева сами поѣхали къ намъ гостить И тоже всѣмъ домомъ. Очень весело жили.

— А наперсточекъ тогда у кого былъ?

— Наперсточекъ тогда былъ у Надины, моей младшей дочери, твоей тетушки. Она умерла невѣстой. Пошла въ церковь — видитъ гробъ. Пoblѣднѣла, какъ полотно и говоритъ: „Это значить, что я должна умереть“. Вернулась домой, легла въ постель, ничего не ѣла, не говорила и черезъ нѣсколько дней умерла. Теперь наперстокъ у тебя, и очень прошу его не терять.

Много лѣтъ валялся наперсточекъ по разнымъ коробкамъ и шкатулкамъ И вотъ ушелъ.

У кого онъ тамъ? Кому нуженъ такой крошечный? И что видятъ они въ немъ? Только маленькій кусочекъ золота. А сколько эманаций въ немъ нашихъ. Руки четы рехъ поколѣній прикасались къ нему. Та чудесная Жолиша, которую прятали отъ изверга Бонапарта... Навѣрно, пальчики ея пахли пачулями... И дѣтскія руки бабушки, строго вымытыя яичнымъ мыломъ, и ручки нѣжной загадочной Надины, пахнувшія навѣрное резедой... И духи Герлена —

послѣднее дыханіе моихъ петербургскихъ кружевъ и лентъ... Тепло нашихъ рукъ и дыханій и излученіе глазъ и легкой нажимъ на ушко иголки, когда мы усердно считали крестики на канвѣ.

И онъ, наперсточекъ этотъ, навѣрное тоже далъ намъ что то свое, какія то впечатлѣнія — твердости, звонкости и излученія золотого блеска и невѣсомыя пылинки-атомы проникшія черезъ кожу и, главное, то неизъяснимое и неопредѣлимое, что мы называемъ „вліяніемъ“ и въ чемъ даетъ намъ себя безъ нашей и своей воли каждый челоуѣкъ, каждый звѣрь и растение и предметъ съ которымъ мы входили въ общеніе.

И можетъ быть, если только не переплавили его на „нужды пролетаріата“ и живъ еще этотъ наперсточекъ — какіе странные сны принесъ онъ въ чужой домъ, чужой женщинѣ и ея маленькой дочкѣ...

---

## Заинька

— Заинька, крошечка, расскажи намъ что нибудь. Что же ты прячешь мордочку въ лапки? Стѣсняешься?

— Ничего я не прячу, — отвѣчалъ Заинька хриплымъ басомъ. — Я просто закуриваю.

Закурилъ, крякнулъ, расправилъ бороду и приготовился врать.

Роста онъ былъ огромнаго съ толстымъ туловищемъ и короткими ногами. Когда сидѣлъ, колѣнки не выступали впередъ, а сгибались подъ животомъ, въ родѣ какъ у дрессированной лошади, сидящей по челоуѣчески. Только сердце любящей жены могло усмотрѣть въ машинѣ „заиньку“.

Ахъ, любящее сердце! Чего только оно не видитъ! Какихъ скрытыхъ отъ постороннихъ глазъ чудесъ не отмѣчаетъ!

Я видѣла отставного чиновника, тощаго, злого, черноносаго, котораго жена звала „Катюшенькой“. Видѣла „дѣтусю“ — рыжаго полицмейстера съ подусниками Видѣла скромнаго учителя арифметики, котораго жена называла — „Миссисипи — огромная рѣка“ и звала его къ чаю:

— Теки сюда скорѣе со всѣми своими притоками.

И видѣла стараго актера, пьянаго и мокраго, отзывавшагося на кличку „серебристый ангелъ“.

Словомъ — „Заинька“ меня не удивиль.

Заинька крякнулъ и спросилъ меня:

— Не хотите ли винограду?

(Я была у нихъ гостьей).

— Мерси.

— Н-да. А приходило-ли вамъ въ голову, какое количество сахара поглощаетъ каждый илъ насъ ежегодно въ фруктахъ, конфетахъ и прочихъ сладостяхъ? Учеными высчитано, что, если превратить въ кубическіе метры количество сахара, поглощаемое жителями двухъ милліоновъ квадратныхъ километровъ средней Европы и сложить ихъ на пяти квадратныхъ метрахъ около Эйфелевой башни, то высота этого сооруженія окажется выше Эйфелевой башни на...

Онъ нахмурилъ брови и вычерчивалъ въ воздухѣ пальцемъ быстрыя цыфры.

— Гм... если высчитать точно... пять квадратныхъ... пятьсотъ тысячъ и одна восьмая.. гм... Да. Окажется гораздо выше.

Жена Заиньки пригнулась ко мнѣ и благоговѣйнымъ шопотомъ дунула въ ухо:

— Онъ у меня всегда такъ. Ничего зря. Все вычисляетъ.

Заинька всталъ и зашагалъ, выпятя грудь, по комнатѣ.



— Только благодаря сравнительной статистикѣ мы и можемъ сознать нашу жизнь. Приходило ли вамъ, напримеръ, въ голову, какое количество ногтей срѣзается ежегодно въ обоихъ полушаріяхъ земного шара? А я вамъ скажу — такое, что если очистить отъ лѣсовъ все плато Южной Калифорніи, то вы сможете свободно покрыть его этимъ количествомъ ногтей.

Онъ выдержалъ торжественную паузу и, заложивъ руки за спину размашисто зашагалъ по крошечной комнаткѣ. Пришпиленные къ стѣнамъ открытки шелестѣли отъ движенія воздуха. Четыре шага впередъ, лихой поворотъ на каблукъ, четыре назадъ.

Жена съежилась, забивъ свой стулъ въ уголь, очевидно, для того, чтобы больше было мѣста для маршировки, и шептала:

— Вотъ и всегда такъ, если что обдумываетъ — все ходить. ходить, какъ только не устанетъ! Здоровье то не Богъ знаетъ какое крѣпкое, въ прошломъ году на Пасхѣ три дня тридцать восемь держалось.

— Заинька! Ну что лапками шевелишь? Ты бы сълъ! Не бережешь себя ни капли.

— Не перебивай! Вѣчно ты съ ерундой.

Она съежилась еще больше и подмигнула мнѣ — вотъ, молъ, странности великаго человѣка.

— Софья Андреевна, — спросила я, — а что же вы не расскажите, какъ идутъ ваши работы? Каждый день бываете въ мастерской?

Она испуганно закивала головой.

— Да, да.

И снова зашептала:

— Онъ не любитъ, когда я перебиваю.

Но его перебить было не гакъ то просто. Онъ остановился прямо передо мной и, слегка прищуривъ глаза, вонзился взоромъ прямо мнѣ въ душу.

— Отдавали ли вы себѣ отчетъ хоть когданибудь какое количество лангустовой скорлупы выбрасывается ежегодно по побережьямъ Бретани и Нормандіи?

— Нѣтъ, — чистосердечно призналась я. -- Не приходилось

— Я такъ я думалъ. И мало кто надъ этимъ задумывался. Хотя образованному человѣку не мѣшало бы знать.

Онъ снова зашагалъ, франтовато поворачиваясь на каблукѣ.

— Отбросивъ лишнія цифры, скажу, чтобы было вамъ понятнѣе, что, собравъ шелуху лангусты одной только Бретани за одинъ годъ и растолча ее въ известковый порошокъ, вы смѣло могли бы выстроить изъ полученнаго цемента э... э.. э... пятнадцать, нѣтъ, четырнадцать, даже скажу для вѣрности, тринадцать охотничьихъ домиковъ средняго образца.

Онъ остановился и подбоченился.

Онъ торжествовалъ, видя какая я сию растерянная.

— И все такъ, и всегда такъ... — шептала жена испуганная и благоговѣйная.

— А вы когданибудь охотились? — спросила я чтобы сбить его со счета,

Онъ насмѣшливо улыбнулся и развелъ руками.

— Меня спрашиваютъ — охотился ли я? Соня, ты слышишь? Это меня, меня спрашиваютъ!

Софія Андреевна всколыхнулась, задохнулась.

— Да вѣдь онъ Господи...

— Молчи, не перебивай. Охотился ли я? По четыре съ половиной недѣли по Сибирской тайгѣ, не ѣвши. Вотъ какъ я охотился, а вы спрашиваете! Одинъ! Ружье да собака, да поваръ Степанъ Егорычъ, да два инженера съ тремя помощниками. Ну и мѣстные три, четыре всегда съ нами увязывались. Кругомъ глушь, жуть. Бр.. Лѣсные пожары, вся дичь разбѣжалась. А поваръ Степанъ Егорычъ, какъ два часа дня пробьетъ:

— Кушать пожалте-съ.

— Какъ кушать? Что ты брешешь?

— А гакъ что обѣдъ готовъ.

— Что же ты, мерзавецъ, приготовилъ, когда на шестьсотъ лье въ окружности ничего съѣдобнаго нѣтъ?

— Артишоки о гратень-съ.

— Что та-ко-е? Смотримъ, дѣйствительно, — артишоки. Ароматъ! Вкусъ! Пальчики оближешь.

— Гдѣ же ты, каналья, ухитрился артишоки достать?

— А еловыя шишки на что? Изъ еловыхъ шишекъ. Ладно. Идемъ дальше. Пора обѣдать. Животъ подвело. На семьсотъ лье въ окружности ни души.

— Пожалуйте обѣдать.

Обѣдать? Неужто опять артишковъ наготовилъ?

— Нѣтъ, говорить, зачѣмъ же? На обѣдъ у меня отбивныя котлеты.

— Что та-ко-е?

Снимаетъ съ блюда крышку. Чтобы вы думали — вѣдь дѣйствительно отбивныя котлеты и преотличныя.

У Кюба такихъ не подавали. Бѣлыя, какъ пухъ. Наѣлся до отвала.

— Ну теперь, говорю, признайся, гдѣ ты телятину досталъ?

— А еловыя шишки говорить на что? Это онъ, каналья, все изъ еловыхъ шишекъ настряпалъ. Но вкусъ, я вамъ скажу, ароматъ... Соня, не перебивай... вкусовое воспріятіе — необычайное. А инженеръ Петряковъ — Сергѣй Ивановичъ, потомъ женился на купчихѣ, а купчиха то была не богатая, я вамъ потомъ все расскажу съ цифрами, такъ вотъ этотъ Петряковъ и говоритъ: — „Да ты, Степанъ Егорычъ, пожалуй и ананасный компотъ изъ шишекъ сварить можешь?“ — „А что-жъ, говорить, сейчасъ, говорить, не могу, а къ ужину, говорить, извольте. Къ ужину будетъ“. И что бы вы думали — вѣдь сдѣлалъ! Ананасный компотъ изъ еловыхъ шишекъ!

Да, вот Соня свидѣтельница, — я ей это рассказывалъ.

— Вкусъ! А ароматъ! Идемъ дальше. Углубляемся въ тайгу. Животъ подвело. А я и говорю: „а что, Степанъ Егорычъ, рыбу подъ бешамелью...“

— Простите, Петръ Ардальонычъ, мнѣ пора домой, — перебила я.

— А я вамъ еще про эту купчиху.

— Въ другой разъ. Я специально приду.

Онъ холодно попрощался. Очевидно обидѣлся.

Софья Андреевна вышла за мной на лѣстницу. Маленькая, худенькая, ежится въ вязаномъ дырявомъ платочкѣ.

— Жаль, что скоро уходите. Заинька только что разговорился. Скучно ему — цѣлый день одинъ сидитъ. Я вѣдь все въ мастерской работаю, трудно намъ. Прибѣгу днемъ, покормлю его, да и опять до вечера. Вотъ совѣтую ему мемуары писать. Вѣдь крупный былъ человекъ, видный, помощникомъ уѣзднаго предводителя былъ. И вотъ такая судьба. Я ужъ стараюсь, бьюсь, да что я могу? Развѣ ему такая жена нужна? Прощайте, миленькая, заходите, пусть хоть поговорить. Да и намъ послушать пріятно и полезно. Крупный человекъ!

---

## О душахъ большихъ и малыхъ

### 1. А Н Е Т Ъ.

Всѣ давно знали, что онъ умираетъ. Но отъ жены скрывали серьезность болѣзни.

— Надо щадить бѣдную Анетъ возможно дольше. Она не перенесетъ его смерти.

Тридцать лѣтъ совмѣстной жизни. И онъ такъ баловалъ ее и ея собачекъ.. Одинокая, старая, кому она теперь нужна. Какая страшная катастрофа! Надо щадить бѣдную Анетъ. Надо исподволь подготовить ее.

Но подготовить не успѣли: давно предвидѣнная развязка явилась всетаки неожиданной. Больной скончался во время докторскаго осмотра, въ присутствіи жены и родственниковъ.

— Сударыня, — сказала, отходя отъ постели, докторъ, — будьте мужественны. Вашъ супругъ скончался. Родственники ахнули.

— Анетъ! Дайте воды! Гдѣ валерьянка? Соли, соли! Анетъ подняла брови:

— Значить, умеръ?

Потомъ повернулась къ сидѣлкѣ:

— Въ такомъ случаѣ, сегодня я вамъ заплачу только за полдня. Сейчасъ нѣтъ еще 6 часовъ.

Сидѣлка застыла съ криво разинутымъ ртомъ.

Втянувъ голову въ плечи, на цыпочкахъ, вышелъ изъ комнаты докторъ. Смерть! Гдѣ твое жало?

## 2. Д Ж О Й.

Джой былъ простой веселый песъ, неважной породы, во всѣхъ смыслахъ средняго калибра.

Жилъ онъ въ Петербургѣ, и принадлежалъ докторшѣ.

Дожилъ до того времени, когда люди стали ѣсть собакъ и другъ друга. Тошій, звонкій какъ сухая лучина, корму не получалъ, а только сторожилъ на общей кухнѣ докторшинъ паекъ, чтобы никто не стащилъ кусочекъ и жилъ всѣмъ на удивленіе.

— Кащей Безсмертный! Съ чего онъ живъ-то?

Худыя времена стали еще хуже. Докторша была арестована.

Вяло, для очистки совѣсти, похлопотали друзья, навели справки и быстро успокоили другъ друга: серьезнаго не могло ничего быть, такъ какъ докторша ни въ чемъ замѣшана не была. Подержать немножко, да и выпустятъ.

Песъ Джой никакихъ справокъ навести не могъ, но хлопоталъ и терзался безпредѣльно. Не ѣлъ ничего. Дворникъ изъ жалости много разъ пытался покормить его, — Джой не ѣлъ. Не хотѣлъ ѣсть. Очень ужъ мучился.

Каждый день, въ опредѣленный часъ, бѣгалъ къ воротамъ больницы и ждалъ выхода врачей. Въ опредѣленные дни бѣгалъ въ амбулаторію, далеко за городъ, гдѣ докторша иногда принимала. Навѣдывался по очереди ко всѣмъ знакомымъ, зналъ и помнилъ всѣ адреса, все соображалъ и искалъ, искалъ.

Докторшу, дѣйствительно, выпустили черезъ три недѣли. Но песъ не дождался, не дотянулъ.

Отъ тоски и тревоги, отъ муки всей своей нечеловѣческой любви околѣлъ онъ за день до ея выхода.

Говорили, что это очень банальная исторія, что сплошь и рядомъ собаки издыхаютъ на могилѣ хозяина, что удивительнаго въ этомъ ничего нѣтъ, разъ это бываетъ такъ часто.

---

### 3. Ф А Н Н И.

Борисъ Львовичъ измѣнилъ своей Фанни послѣ десятилѣтняго счастливаго супружества. Влюбился въ молоденькую сестру милосердія съ лицомъ нестеровской Богородицы, яснымъ и кроткимъ.

Но Фанни была хорошей женой, любила его преданно, вѣрно и нѣжно, на всю жизнь. И жили они такъ уютно, съ такой заботливой любовью устраивали свою квартиру, выбирали каждую вещь тщательно.

— Вѣдь это надолго.

У Бориса Львовича сердце было доброе. И мучился онъ за свою Фанни. Почернѣлъ и засохъ. Никакъ не могъ рѣшиться сказать ей, что уходитъ отъ нея. Не смѣлъ себѣ представить эту страшную минуту. Все смотрѣлъ на нее и думалъ.

— Вотъ ты улыбаешься, вотъ ты поправила коверъ, вотъ ты спрятала яблоко въ буфетъ на завтра. И ты ничего не знаешь. Ты не знаешь, что для тебя въ сущности уже нѣтъ ни ковра, ни яблоковъ, ни „завтра“, ни улыбокъ, да, никогда „никакихъ улыбокъ“. Кончено. А я все это знаю. Я держу ножъ, которымъ убью тебя. Держу и плачу, а не убить уже не могу.

Вспомнилъ о Богѣ.

— Мнѣ Бога жалко, что онъ вотъ такъ какъ я сейчасъ, видитъ судьбу человѣка. и скорбитъ, и мучается.

Совсѣмъ развинтился Борисъ Львовичъ. Неврастеникомъ сталъ, къ гадалкамъ бѣгалъ. И все думалъ о страшной минутѣ и все представлялъ себѣ, какъ Фанни вскрикнетъ, какъ упадетъ, или, можетъ быть, молча будетъ смотрѣть на него. А вдругъ она сойдетъ съ ума? Только бы не это, это ужъ хуже всего.

А „Мадонну“ любилъ и отказаться отъ нея не могъ. Обдумывалъ, придумывалъ, извивался душою, узлами завывался. Какъ быть?

— Не могу же я такъ сразу, ни съ того, ни съ сего ухнуть. Буду ждать случая, психологической возможности. Буду ждать ссоры. Хоть какой-нибудь пустяковой, маленькой. Маленькую всегда можно раздуть въ большую и тогда создастся атмосфера, въ которой легко и просто сказать жестокия слова. И принять ихъ для нея будетъ легче.

И вотъ желанный мигъ насталъ. Они поссорились. И ссорясь, она сказала, что у него ужасный характеръ и что жить съ нимъ невозможно. Онъ понялъ, что лучшаго момента не найти.

— А! Вотъ и отлично! Я тоже того мнѣнія, что намъ пора разойтись.

Отъ ужаса онъ закрылъ глаза (только бы не видѣть ея лица!).

— И я долженъ, наконецъ, сказать тебѣ правду. Я хочу развода. Я люблю другую и она любитъ меня и мы дали другъ другу слово. Требую развода.

Онъ задохнулся, открылъ глаза.

Она стояла, какъ была, красная и сердитая. Мотнула головой и закричала:

— А, такъ? Ну, ладно же. Только знай, что мебель изъ столовой я беру себѣ.

И онъ, ждавшій слезъ, отчаянія, безумія, можетъ быть, даже смерти, услышавъ эти слова о мебели изъ столовой, зашатался и потерялъ сознание. И съ отчаяніемъ ея и со слезами онъ какъ нибудь справился бы. Но этого ужаса онъ не ждалъ и перенести его не могъ.

---

— Ты не женишься на своей „Мадоннѣ“? — спрашивалъ его посвященный въ семейную драму пріятель.

— Нѣтъ, милый мой. Послѣ этого ужаса сердце мое уже въ новое счастье не вѣритъ. Я потерялъ вкусъ къ любви. Остался съ Фанни — не все ли равно?.. Слишкомъ сильный былъ шокъ. Нѣтъ, я уже человѣкъ конченный. Мнѣ никого не надо. Не вѣрю.

---

#### 4. ВЪ ТРАМВАѢ.

Облупленный, обшарпанный трамвай, похожій на тяжелую пчелу, нагруженную медомъ, медленно ползущую по косою дощечкѣ улья, сипѣлъ по расхлябаннымъ рельсамъ Невского проспекта.

Гроздьями сѣрыхъ жуковъ, унылыхъ, но цѣпкихъ, облѣпили его пассажиры. На площадкѣ, прижавшись къ



периламъ — бывший баринъ. Баринъ потому что на немъ потеряя бобровая шапка, боярская, бобровый плѣшивый воротникъ, лицо такое худое, точно тяжелая рука сверху вниз сгладила съ него щеки, такъ что отянулись вниз нижнія вѣки и углы рта, — лицо его тонкое и привычное къ тихой думѣ, къ мысли. Высокій, онъ всѣхъ виднѣе въ этой стиснутой, сплющенной кучкѣ людей.

А рядомъ баба, съ раскрытымъ отъ худобы ртомъ, съ злобными и испуганными глазами человѣка, у котораго отнимаютъ кошелекъ, и курносый парень съ распяленнымъ ртомъ, блѣдный и зловѣщій, какъ масляничная харя и исплаканная старушонка — все лицо только красный носъ, да красныя вѣки; скорбь ихъ раздула, а все остальное съѣла, больше ничего отъ старушонки и не осталось въ черномъ головномъ ея платкѣ, съ обсмарканными концами.

— О, Господи! О, Господи!

Давать, душать. Тяжело-о-о!

Тихо ползеть трамвай. Тяжелый, его обвисшій задъ перегруженъ, тянетъ къ землѣ, не даетъ хода. Ползеть мимо слежалыхъ, грязныхъ сугробовъ, сора, рвани, падали. И вотъ у тротуара кучка людей. Столпились вокругъ лежащей лошади. Лошадь выпряжена, значитъ лежитъ давно. Бокъ у нея страшно вздулся. Подъ мордой клочекъ сѣна. Видно кто-то сунулъ, чтобы было ей чѣмъ свою жизнь помянуть. Или думали, что вотъ узнаетъ лошадь, что есть еще сѣно на свѣтѣ, понатужится и поборетъ смерть.

Нѣтъ, не помогло сѣно. Лежитъ тихо и бокъ вздутый не подымается. Не дышетъ лошадь. Кончено. Вотъ и не хочетъ ѣсть. Не хочетъ. Понимаете вы? Не хочетъ ѣсть...

Подымается рука къ бобровой шапкѣ, такая худая, голая, въ потрепанномъ обшлагѣ, отъ тѣла раздѣтая. Тихо склонивъ голову, снимаетъ шапку бывший баринъ и кре-

стится. Парень съ распяленнымъ ртомъ осклабился — „гы-ы“ и обшарилъ всѣхъ глазами, приглашая смѣяться. Но кругомъ были лица тихія и глаза съ его глазамъ встрѣтились строгіе. Онъ оторопѣлъ, осѣлъ и спрятался за исплаканную старуху.

И бывший баринъ такъ просто и благоговѣйно обнажилъ голову передъ страданьемъ и смертью и сотворилъ крестъ во Имя Отца и Сына и Святого Духа за малую душу замученнаго звѣря.



## Гермина Краузе.

Лѣтними вечерами ихъ выносили послѣ ужина подышать воздухомъ въ маленькій круглый дворикъ, обсаженный тощими кустами и деревцами.

Ихъ было всего человѣкъ десять: двѣнадцать стариковъ и старухъ въ этой монастырской богадѣльнѣ древняго нѣмецкаго городка.

Здоровенный парень санитаръ выкатывалъ ихъ въ креслахъ и устанавливалъ въ кружокъ. Тихія монахини въ длинныхъ сборчатыхъ юбкахъ и крылатыхъ чепцахъ укутывали стариковъ въ шали и пледы, и тѣ сидѣли недвижно и безмолвно, точно сосредоточенно ожидая каждый своей очереди въ пріемной Господа Бога.

И вотъ разъ о нихъ забыли. Смѣнялся здоровенный парень, сдавалъ свою должность другому такому же здоровенному и, кромѣ того, одного изъ стариковъ, дождавшагося очереди въ пріемной, нужно было обмыть и отнести въ часовню, такъ что крылатыя монахини были заняты.

Старики и старухи сидѣли не шевелясь. Поднялась изъ-за стѣны огромная, круглая луна, зацѣпилась за черное дерево, остановилась и облила голубымъ фосфоромъ черныя поникшія фигуры.

Въ нишѣ заголубѣла фигура Мадонны, холодно засвѣтился ея золотой вѣнчикъ и омертвѣли цвѣты у ногъ.

Старики и старухи, одинаково бородатые, сухоносые походили другъ на друга и отличить было трудно, кто старикъ, кто старуха. У старухъ головы были повязаны черными платками, у стариковъ черныя шапочки походили на платки.

Сидѣли неподвижно и не удивлялись, что долго не убирають домой.

Одна изъ старухъ, не поднимая головы, почувствовала лунный свѣтъ и, вытянувъ руки, пошевелила пальцами, словно щупала липкую матерію.

— Лунный свѣтъ!

Голосъ у нея былъ глухой, тугою, точно механической.

Тогда сидѣвшая рядомъ зашамкала:

— Завтра меня переведутъ въ Берлинъ. Я здѣсь два мѣсяца хворала. У нихъ въ больницѣ... Пусть, пусть перевезутъ — я еще поправлюсь. Я теперь плохо помню, но я ее увижу и все ей расскажу. Хю-хю-хю! Вотъ смѣшно!

Она протянула руку, крючковатую, бурую въ лунномъ свѣтѣ и тронула сосѣдку за колѣно.

— Вы слышите?

— Гермина Краузе — не поднимая головы, отвѣтила та. Черный платокъ низко спускался ей на лицо, и острый длинный носъ загибался надъ провалившимся ртомъ.

— Да, да, — всколыхнулась та, что смѣялась. — Да! Гермина Краузе! Ага, вы знаете! Вотъ я ее найду. Сорокъ лѣтъ я прожила въ Америкѣ, ну, а она-то, навѣрное, здѣсь. Куда она дѣнется, калѣка? Я сорокъ лѣтъ думала о ней,

а когда заболѣла, скорѣе поѣхала на родину. Я ее найду. Ноги отнялись. Въ Берлинѣ вылѣчатъ. Найду... Я не боюсь — судъ меня оправдалъ, у меня отъ Краузе ребенокъ былъ Онъ на ней изъ-за денегъ женился, на Герминѣ, ну, вотъ она и получила, Я ей сказала: „Онъ твой мужъ, но ты не радуйся. Ты его видѣть никогда не будешь“. А она: „Какъ не буду?“ — А вотъ такъ, — всю бутылку выплеснула. Ловко попала. Ну, вотъ смотри теперь. Судъ оправдалъ... Уѣхала въ Америку. А Краузе. Михель Краузе за мной поѣхалъ. Нашелъ меня. Вы слышите?

Она тронула свою тихую сосѣдку и та повторила, не поднимая головы:

— Гермина Краузе.

— Хю-хю-хю! Нашелъ меня, сказалъ, что онъ на деньгахъ женился, на Герминовыхъ деньгахъ. А опять за мной поѣхалъ. А я уже никого не любила. И дочку свою не любила. Я только изъ-за Гермины его приняла. Прожила съ нимъ три года. Для Гермины. Думала, увижу ее, расскажу ей, какъ онъ за мной поѣхалъ. Хю-хю-хю! Сорокъ лѣтъ прошло. Трудно было домой попасть. Теперь поправлюсь и найду, и скажу... О-о-хъ! Сердце у меня.. о-о-хъ!...

Она замолчала и застыла, выставивъ впередъ острый подбородокъ.

Луна уже обогнула дерево и надвинула его тѣнь на черную поникшую старуху, которая слушала рассказъ. Она все также сидѣла, напряженно, точно продолжая слушать.

Никто не шевельнулся.

Пришла крылатая монахиня съ новымъ парнемъ.

— Вотъ этого къ окошку. Тамъ на доскѣ его имя.

— Рудольфъ Кайзеръ — тонкимъ фальцетомъ сказалъ старикъ.

— Эту вотъ къ самымъ дверямъ. Ее завтра увезутъ. — сказала монахиня про ту старуху, которая рассказывала. Какъ ваше имя?

— Эмилія Бокъ.

Ее откатали къ подвѣзду.

— Ну, теперь эту, глухую.

Она дотронулась до поникшей старухи и та сказала тугимъ голосомъ:

— Гермина Краузе.

— Да. Гермина Краузе. Если до нея дотронуться, она говоритъ свое имя. Осторожно — она слѣпая.

## Наклейка

Дэзи Броунъ — прежде ее звали иначе... безразлично какъ, дѣло не въ этомъ. Дѣло въ томъ, что Дэзи Броунъ, всей душой, съ восторгомъ и ужасомъ, съ отвращеніемъ и смѣхомъ, въ долгую вагонную ночь, между Марселемъ и Парижемъ, не отрываясь, читала свой собственный чемоданъ.

Этотъ большой старый чемоданъ изъ крокодиловой кожи, тихо потряхивающійся передъ ней въ багажной сѣткѣ, былъ весь облѣпленъ цвѣтными отельными наклейками, свѣжими, старыми, очень старыми, чуть видными изъ-подъ новыхъ пластовъ.

Наклейки были и круглыя, и квадратныя и съ картинками, и простыя. Вотъ Lido „Excelsior“ съ черной гондолой на синемъ фонѣ... Hôtel des Anglais Nappoli съ крутящимся винтомъ дымомъ Везувія... и флорентійскій Hôtel d'Albion на клѣтчатомъ фонѣ, полузаклеенномъ константинопольскимъ Petit Hôtel съ минаретомъ и Hôtel Suisse S-t Jinglyf съ розово-снѣжными горами Швейцаріи... и вдругъ простой полустертый билетикъ „Вержбол...“ конецъ ободранъ... и Fürstenhof Berlin... и много, много еще.

Дэзи щурить рѣсницы, читаетъ свой чемоданъ, наклею за наклейкой, съ отвращеніемъ и смѣхомъ съ восторгомъ и ужасомъ.

Читаетъ.

1. Наклейка первая.

„S-t Jingolf Hotel Suisse“.

На террасѣ Женевскаго озера розовый вечеръ.

Хозяинъ отеля поставилъ у баллюстрады два кактуса, чтобы кліенты знали, что міръ Божій однообразенъ и что сидя въ Швейцаріи можно получать африканскія впечатлѣнія.

Но Дэзи никакихъ впечатлѣній не получала. Она сидѣла въ креслѣ, поднявъ ноги на перила террасы, обдумывала что-то, и записывала въ крошечную книжечку...

Услыша шаги Черри, она, не поворачивая головы, спросила:

— Ермакова считать или нѣтъ?

Черри пришла не одна. За ней шелъ маленькій, черненькій, кривоплечій и лопухій молодой человѣкъ и несъ въ вытянутой рукѣ дамскій зонтикъ.

— Онъ нашелъ твой зонтикъ, — сказала Черри. Въ награду я рѣшила показать ему тебя.

— Въ награду выдается одна треть. Значитъ, ты цѣнишь меня въ треть зонтика. Спасибо, молодой человѣкъ. Напрасно вы его нашли — онъ мнѣ надоѣлъ.

Молодой человѣкъ хотѣлъ что то сказать, задержался всѣмъ лицомъ, покраснѣлъ и смолчалъ, продолжая держать зонтикъ въ вытянутой рукѣ.

— Поставьте, и сядьте — утомленно пригласила Дэзи.

Черри взяла зонтикъ и сказала кривоплечему:

— Вотъ это моя подруга. Сегодня ее зовутъ Майа. Тотъ снова задержался, но на этотъ разъ не смолчалъ.

— Майа? Это уменьшительное? А какъ полное имя?

— Маія — сказала Дэзи.

— Марія?

— Нѣтъ. Маія.

— По моему такой святой не было.

— Совершенно вѣрно. Меня назвали въ честь грѣшницы.

Кривоплечій посмотрѣлъ на одну и на другую. Блѣдное лицо Дэзи было скучно и спокойно. Черноглазая, румяная Черри сдержанно сжала губы, подернутыя темнымъ пушкомъ.

— Черри! Считать Ермакова или нѣтъ?

— Ну, конечно. Что за вопросъ?

— Да, вѣдь я съ нимъ даже ни разу не поцѣловалась.

— Ну, такъ что-жь? Тѣмъ лучше. Три мѣсяца томилась и стихи писала.

— Да это вѣрно. Стихи были. А Генделя считать?

— Ну, что за вздоръ!

— Да, вѣдь я же цѣловалась.

— Мало ли что, считается со всякимъ ничтожествомъ.

— Ахъ, Черри, какая ты легкомысленная. Ермаковъ всего 48 номеръ. Такъ мы и до семидесяти не доберемся. Простите, молодой человѣкъ. Мы считаемъ мои романы. Я сегодня въ дѣловомъ настроеніи.

Молодой человѣкъ покраснѣлъ, задохнулся и промолчалъ.

Дэзи опустила глаза и увидѣла его ноги въ сандаляхъ — голыя, сиреневаго цвѣта...

— Иди въ горы, Черри. А мы съ этимъ отрокомъ будемъ читать стихи. Вы любите стихи, отрокъ?

— Абсолютно не понимаю, и терпѣть не могу.

— Да? Ну такъ слушайте:

Они любили другъ друга такъ долго и нѣжно,  
Съ тоскою глубокой и страстью безумно мятежной,  
Но какъ враги избѣгали свиданья и встрѣчи,  
И были пусты и холодны ихъ краткія рѣчи...

— Ну къ чему это? — прервалъ кривоплечій. Это все нездорово. Я вотъ въ Женевѣ въ школѣ... Чувствую себя отлично... Прежде былъ больной и нервный... Смотрите, — никогда не ношу чулокъ, даже въ холода. Надо, чтобы все было здор-ровое

Дэзи сочувственно покачала головой и сказала.

— Взгляните, который часъ, — мнѣ лѣнь нагибаться. Взгляните мнѣ на ногу

Кривоплечій взглянулъ. У Дэзи на ногѣ на зеленомъ ремешкѣ были прикрѣплены ручные часы.

— Какъ у васъ все.. неправильно.. семь часовъ.. все нездорово..

— Ну, идите домой! А завтра вечеромъ приходите читать стихи. Это у васъ чудесно выходитъ

На слѣдующій день кривоплечій пришелъ съ утра, чтобы сказать, что вечеромъ онъ прійти не можетъ, потому что долженъ лѣзть на гору, чтобы себя закалить. Объявивъ объ этомъ, просидѣлъ на терассѣ весь день, сбѣгалъ только позавтракать и послѣ обѣда вернулся снова.

— Вы хотѣли читать стихи... сказалъ онъ смущенно.

— Хорошо, согласилась Дэзи.

И онъ сразу расхрабрился, улыбнулся саркастически и откинулся въ креслѣ.

— Ну что жъ, послушаемъ

И на слѣдующій день пришелъ съ утра.

— По моему, онъ въ тебя влюбился, — недовольно говорила Черри. И зачѣмъ было разводить такую гадость — берeditъ стихами дождевого червя? Брррр...

— Такъ что же теперь дѣлать? Онъ вѣдь не уйдетъ.

— Прогони, и конечно.

— Трудно. Мнѣ вчера показалось, какъ будто онъ плачетъ.

— Да какъ онъ смѣетъ, вотъ нахаль.

— Черри! Ты скажи ему что-нибудь... Скажи, что я не свободна, что я люблю другого.



— Какая пустая глупость! Точно это когонибудь, когданибудь успокаивало.

— Скажи, что вообще неспособна полюбить.

— Удивительное дѣло! Какъ бы ни хотѣлось женщинѣ отвязаться отъ влюбленнаго дурня, отъ самаго противнаго для нея человѣка, никогда она не рѣшится сказать чтонибудь такое, что дѣйствительно оттолкнуло бы отъ нея. Охотно станетъ раздѣлывать демоническую женщину:

„Ахъ, я неспособна любить!! Ахъ, я всѣми только играю“. Вѣдь никогда такой дѣмонизмъ, даже самый низкопробный, никого не охлаждалъ. Иногда даже напротивъ — заинтересовывалъ. А вѣль ни одна не рѣшилась написать „Простите, молъ, что не могу васъ принять, но у меня сломалась вставная челюсть“ - Или просто: „У меня страшный флюсъ“. Вѣдь ни за что.

— Черри! Скажи ему, что мнѣ пятьдесятъ лѣтъ и, что у меня сынъ полицейскій приставъ въ Тамбовѣ. Милая, скажи! Я не выйду вечеромъ, а ты поговори съ нимъ.

Утромъ кривоплечій не пришелъ. Но онъ пришелъ вечеромъ съ букетомъ красныхъ розъ, а самъ былъ совершенно желтый. Подаль цвѣты Дэзи, рука дрожала, и весь, кажется, дрожалъ.

— Вотъ это... это мой отвѣтъ. Ваша подруга передала мнѣ ваше признаніе.. Вотъ.. Пусть...

Дэзи удивленно взглянула на Черри.

— Да, я сказала, что тебѣ пятьдесятъ лѣтъ, отвѣтила та.

— Черри, Черри! Есть страшныя слова, которыя нельзя произносить безнаказанно. Они всегда оставляютъ слѣдъ. Старость, смерть.. Чего вы такой желтый, молодой человѣкъ?

— Просто такъ... Забросилъ гимнастику... Сегодня пойду непременно.. Я люблю все здоровое...

Глаза его, отеки и тусклые, перебѣгали съ Дэзи на Черри, умоляли повѣрить.

— Отвратительно! — воскликнула Черри по-английски, повернулась и вышла.

Дэзи смотрѣла устало и спокойно.

— Это хорошо, другъ мой. И я больше не буду отнимать отъ васъ время. Я завтра уѣзжаю.

Онъ страшно испугался, потому какъ то ужъ со-всѣмъ по идиотски засмѣялся.

— Да вѣдь вы же говорили, что еще мѣсяць...

Не договорилъ и понялъ. По лицу Дэзи строгому и печальному.

Не сказалъ больше ничего, глубоко задумался и даже какъ будто не видѣлъ, что Дэзи встала и вышла. Онъ прибѣжалъ на другой день, когда Дэзи, стоя на колѣняхъ среди вороха разорванныхъ писемъ и увядшихъ цвѣтовъ, закрывала чемоданъ изъ блестящей крокодиловой кожи, на которомъ красовался свѣже наклеенный билетикъ Hotel Suisse S-t Jingly съ розовыми швейцарскими горами.

Онъ поставилъ на каминъ маленькую собачку изъ лиловатаго прозрачнаго камня.

— Вотъ — сказалъ онъ, задыхаясь. Я хочу, чтобы это всегда стояло на вашемъ столѣ.

Собачка была жалка. Стекланные глазки блестяли, будто плакали и на ошейникѣ дрожала бусинка.

Дэзи ласково улыбнулась.

— Какъ мило съ вашей стороны. Спасибо...

Онъ смотрѣлъ на нее съ отчаяніемъ и восторгомъ.

— Я умоляю объ одномъ: когда приѣдете къ себѣ, пришлите мнѣ то стихотвореніе, которое вы читали въ первый день.

— Дэзи прищурилась, вспоминая.

Онъ шепнулъ:

— ...Другъ друга такъ нѣжно.

Съ тоской глубокой и...

И... и безумно мятежной.

Ова поняла, что слово „страстью“ онъ не смѣлъ про-  
изнести. Улыбнулась „попроще“.

— Съ удовольствіемъ, непременно.

— Помните, что если не исполните, я . я все таки до-  
вольно нервный. Мнѣ... не перенести.

Они вышли вмѣстѣ, и онъ проводилъ ее на пристань.

— А потомъ я вернусь въ вашу комнату и немножко  
побуду въ ней, одну минуту еще.

На пароходъ уже около Лозанны, Дэзи съ ужасомъ  
вспомнила: собачка осталась на каминѣ! Онъ вернулся въ  
ея комнату и увидѣлъ. Такъ обидѣть его нельзя.

И, выйдя на берегъ, тотчасъ же послала телеграмму  
Черри, прося разыскать собачку и переслать ей въ отель  
„Berge“...

Часовъ въ 6 утра ее разбудилъ стукъ въ дверь.  
Прислуга подала какой то листокъ. Кто то просилъ на  
одну минуту сойти внизъ.

Она накинула шаль и спустилась. Въ вестибюль ме-  
тался около входной двери кто то непріятно знакомый.  
Это былъ онъ.

— Я пріѣхалъ ночью въ 12 ч. Меня не пустили. Я  
ждалъ на скамейкѣ, на набережной. Дождь, но это ничего.  
Я привезъ собачку. У меня, кажется, жаръ.

Онъ говорилъ быстро и суетился. Мокрое пальтишко  
прилипло къ кривымъ плечамъ. Затекшіе глаза блестяли.

— Я долженъ вернуться съ первымъ пароходомъ,  
пока моя тетка не встала. Мнѣ нельзя ночью выходить.  
Я больной. И чтобы васъ не скомпромен.. компром...

И на минутку закрылъ глаза.

— А главное, не забудьте прислать стихи. Это одно  
прошу. Одно и на вѣки.

Повернулся, махнулъ рукой, пошелъ къ двери, оста-  
новился и снова махнулъ рукой. И вышелъ.

— Какой кошмаръ! И зачѣмъ Черри дала ему адресъ!  
И все всегда у меня такъ безрадостно, такъ горько!

У нея дрожали ноги, когда она подымалась по лѣстницѣ.

Черезъ два мѣсяца на Лидо было еще жарко и теплая соленая, какъ бульонъ, вода залива пестѣрла цвѣтными костюмами купающихся.

Сверху изъ окна Дѣзиной комнаты видъ былъ чудесный.

— Иди плавать, Черри, а я буду смотрѣть на тебя въ бинокль. Достань мой бинокль — онъ въ этомъ чемоданѣ.

Черри засунула руку, ища между флаконами, кружевами и лентами.

— Что это? Какіе то кусочки..

Два мутно лиловыхъ камушка.

Дѣзи взглянула:

— Боже мой! Моя собачка! У нея отломалась голова...

И ласково положила на ладонь.

— Бѣдная моя, жалкая! Черри вѣдь я обѣщала ему послать стихи!

— Ну такъ что же?

— Да вѣдь я, оказывается, не знаю адреса.. Черри, милая, да вѣдь мы и имени его не знаемъ! Какъ это все странно!

— Ну и отлично. А то еще пожалуй стала бы раздумывать — не записать ли его за номеромъ 49... Отчего у тебя слезы на глазахъ?

И быстро отвернувшись, прибавила неестественнымъ голосомъ, явно не вѣря своимъ словамъ.

— Да, здѣсь безумно жаркое солнце. Безумно жаркое! Я куплю себѣ черные очки. Хочешь, бѣдная моя Майка?



## Три правды

Что рассказывала Леля Перепёгова.

— Вы, вѣдь, знаете, что я никогда не лгу и ничего не преувеличиваю. Если я ушла отъ Сергѣя Ивановича, то, значить, дѣйствительно, жизнь съ нимъ становится невыносимой. При всей моей кротости, я больше терпѣть не могла, Да и зачѣмъ терпѣть? Чего ждать? Чтобы онъ меня зарѣзалъ въ припадкѣ бѣшенства? Мерси. Рѣжьтесь сами.

Въ воскресенье пошли обѣдать въ ресторанный. Всю дорогу скандалилъ, зачѣмъ взяла Джипси съ собой. Только, моль, руки оттягиваетъ и то, и се, и пятое, и десятое. Я ему отвѣчаю, что если и оттянетъ руки, такъ мнѣ, а не ему, такъ и нечего меня съ грязью смѣшивать. И зачѣмъ было заводить собаку, если всегда оставлять ее дома? Надулся и замолчалъ.

Но это еще не все.

Приходимъ въ ресторанный. Садимся, конечно, около дверей. Люди находятъ хорошія мѣста, а мы почему-то, либо у дверей, либо у печки. Я вскользь замѣтила, что все это зависитъ отъ внимательности кавалера. Не прошло и пяти минутъ, какъ онъ говоритъ: „вотъ освободилось хорошее мѣсто, перейдемъ скорѣе“.

— Нѣтъ говорю, мнѣ и здѣсь отлично.

Потому что я прекрасно понимала, что пересадку онъ затѣялъ исключительно потому, что противъ меня оказался прекрасный молодой человекъ. Все на меня поглядывалъ и подвигалъ — то перецъ, то горчицу. Видно, что изъ хорошаго общества. Ёль цыпленка.

— Я совершенно не перевариваю ревности. Закатывать сцены изъ-за того, что вамъ подвинули горчицу! На это ужъ не одна Дездемона не пойдетъ.

— Мнѣ, говорю, и здѣсь отлично.

Надулся. Молчитъ.

Однако, смотрю — вторую бутылку вина прикончилъ.

— Сережа, говорю, тебѣ же вѣдь вредно!

Озлился, какъ звѣрь.

— Избавьте меня отъ вашего вмѣшательства и вульгарныхъ замѣчаній.

О его же здоровьѣ забочусь, и меня же оскорбляютъ.

Смотрю — требуетъ третью. Это, значить, чтобы меня наказать и подчеркнуть свое страданіе.

Ладно. Вышли изъ ресторана.

— Сережа, говорю, можетъ быть, ты возьмешь на руки Джипса, я что-то устала.

А онъ какъ рявкнетъ:

— Я вѣдь такъ и зналъ, что этимъ кончится! Вѣдь просилъ не брать! Терпѣть не могу. Выступаешь, какъ идіотъ съ москвой на рукахъ.

Я смолчала. Опять не ладно:

— Чего, кричить, ты молчишь, какъ мегера.

У него только и есть. Молчу — мегера, смѣюсь — гегера. Только и слышишь, что древне-греческія обидности.

Идемъ. Тащу Джипси. Сердцебіеніе, усталость — однако молчу и кротко улыбаюсь.

Смотримъ — по тротуару, напротивъ ресторана, шагаетъ Кирпичевъ. Ну, чѣмъ я виновата? Я его не предупреждала, что будемъ злѣсь.

Сергѣй Ивановичъ, положимъ, смолчалъ. Но такое молчаніе хуже всякаго скандала.

Поздоровались, пошли вмѣстѣ. Ну, тутъ онъ и началъ свои фортели. То сзади плетется, то на три версты впередъ убѣгаетъ. Не могу, молъ, итти такъ медленно. Да и нельзя, молъ, весь тротуаръ занимать. А потомъ и совсѣмъ исчезъ.

Я внѣ себя отъ волненія. Кирпичевъ меня утѣшаетъ, хотя самъ изстрадался — худѣетъ, блѣднѣетъ, ничего не ѣстъ. Молчитъ о чувствѣ своемъ, но догадаться не трудно. Но съ нимъ такъ легко говорится, пріятно, интеллигентно. А съ Сергѣемъ Ивановичемъ такъ, либо ругаюсь, либо молчу, какъ какая нибудь Юдифь отъ головы Олоферна.

Кирпичевъ довелъ меня до дому.

Пришла, жду, жду. Сергѣй Ивановичъ явился только черезъ часъ.

— Гдѣ вы были?

— Такъ, немножко прошелся.

А самъ отворачивается. Навѣрное, шагаль какъ идіотъ и обдумывалъ планъ самоубійства. Я не перевариваю ревности.

Я собралась съ духомъ и сказала ему прямо:

— Сергѣй Ивановичъ, я вамъ должна одно сказать: во-первыхъ...

А онъ какъ заоретъ:

— Если одно, такъ и говорите одно, а не заводите, во-первыхъ, да въ-четвертыхъ, да въ-десятихъ, на всю ночь. А я, говоритъ, вамъ прямо скажу — все это мнѣ надоѣло и я завтра же съѣзжаю. А сейчасъ прошу дать мнѣ выспаться.

И завалился. Слышу храпъ. Притворяется нарочно, будто спитъ. Всю ночь притворялся. Утромъ притворился, будто выспался, уложилъ чемода и ушелъ.

Я знаю, что отъ ревности человекъ на все готовъ, но, чтобы при этомъ еще такъ не владѣть собою.. Не знаю, что еще меня ждетъ. Кирпичевъ поклялся защитить меня отъ безумца.

\* \* \*

Что рассказывалъ Сергѣй Ивановичъ.

— Итакъ, значить, пошли мы въ ресторанъ. Взяли съ собой собаченку. Умолялъ не брать — нѣтъ, взбѣле-

нилась, и никакихъ. Сразу испортила настроеніе. Но, однако, смолчала.

Въ ресторанѣ — вѣчная исторія — куда ее не посади, то ее печеть, то на нее дуеть. Но я далъ себѣ слово сдерживаться. Вижу, освободилось мѣсто и предлагаю самымъ ласковымъ тономъ пересѣсть. И вдругъ въ отвѣтъ перекошенная физиономія и змѣиный шипъ.

— Мвѣ и тутъ ладно.

Ладно, такъ ладно. Мнѣ наплевать. Умолять и въ ногахъ валяться не стану. Молчу. Ёмъ. Вино, кстати, тамъ недурное.

Увидѣла, что я пью съ интересомъ и прицѣпилась. Тутъ ужъ я вскипѣлъ. Что, вообще, эти дурицы думаютъ?

Для чего человѣкъ въ ресторанѣ ходитъ — зубы чистить, что ли? Человѣкъ ходитъ для того, чтобы ѣсть и поѣдаемое запивать. Вотъ для чего. Ихъ идеаль, чтобы человѣкъ смотрѣлъ, какъ она ѣсть, а самъ бы пожевалъ вареную марковку, запилъ водичкой, какъ заяцъ, и все время говорилъ бы комплименты. Куда, какъ весело!

Вышли изъ ресторана — такъ и зналъ — тычетъ мнѣ на руки свою моську. Вѣдь предупреждалъ! Вѣдь просилъ! Дѣйствительно, возмутительно!

Встрѣтила какого-то болвана Скрипкина или, что-то въ этомъ родѣ. Воспользовался случаемъ, чтобы удрать. Жажда безумная. Выпилъ пива. Эта дурица, между прочимъ, твердитъ, какъ дятель, что вино жажды не утоляетъ. Объяснялъ идиоткѣ, что жажда есть потребность жидкости, а вино есть жидкость. А она говоритъ, что селедочный разсолъ тоже жидкость, однако, жажды не утолить.

Я ей на это резонно отвѣчаю, что, если она истеричка, надо лѣчиться, а не бросаться на людей.

Вернулся домой — вижу приготовилась скандалить.

Пресѣкъ сразу.

— Завтра уѣзжаю.



И легъ спать.

Слава Богу, не догадалась, что былъ въ бистро — старался не дышать въ ея сторону.

Нѣтъ, довольно, разъ мы другъ друга не понимаемъ и говоримъ на разныхъ языкахъ.

Довольно.

\* \* \*

Что бы рассказала Джипси:

Пошли въ ресторанъ.

Хозяева всю дорогу лаяли.

Въ ресторанѣ ѣли дрянъ. Чужой господинъ ѣлъ цыпленка. Я смотрѣла на него, а онъ на меня. Если бы хозяйка на него полаяла, онъ далъ бы косточку.

Ничего мнѣ не попало.

На улицѣ подошелъ тотъ, кто каждый день лаеетъ съ хозяйкой на прогулкѣ и пихаетъ меня ногой.

Хозяинъ убѣжалъ, а тотъ просунулъ свою лапу подъ хозяйкину лапу и совсѣмъ скovyрнулъ меня въ сторону. Отъ него пахло жареной телятиной, а самъ онъ тихонько подтягивалъ, будто голодный. Потомъ и хозяйка стала подтягивать. Сама виновата — зачѣмъ ѣла артишокъ и рака. Дура.

Оба притворялись голодными, да меня не надуешь.

Пришли къ дому и стали у подъѣзда другъ другу морды обнюхивать.

Она, вѣрно, первая донюхалась, что онъ ѣлъ телятину — оттолкнула его и ушла.

Мы уже улеглись, когда пришелъ хозяинъ. Отъ него несло двумя литрами пива — мнѣ чуть дурно не сдѣлалось. Гдѣ у нихъ нюхъ? Я ему тявкнула въ самую морду.

— Барбось!

Теперь хозяина нѣтъ, а приходитъ тотъ. Она воетъ, а онъ тявкаетъ. А чтобы угостить шоколадомъ собаку,

объ этомъ, конечно ни одному изъ нихъ и въ голову не придетъ.

Самая жестокая собачья разновидность — такъ называемый челоуѣкъ. Низшая раса, какъ подумаешь, что есть не вѣрящiе въ бѣлую кость!

---

## ЛѢСТНИЦА

Семь этажей. Четырнадцать поворотовъ.

На первомъ поворотѣ площадка украшена цвѣтнымъ окномъ. Оно оклеено раскрашенной бумагой съ торжественнымъ и замысловатымъ рисункомъ — красные львы, съ повернутыми назадъ головами, шлемы съ черными перьями, зеленыя башни и невѣдомые гербы.

Пестрый свѣтъ, льющійся черезъ эти башни, тревожитъ, волнуетъ, заставляетъ торопиться и сомнѣваться. И покажется, что тѣхъ, къ кому вы идете, нѣтъ дома, или они не ждутъ васъ, не любятъ, или что вы перепутали день, или что услышите безпокойныя, злыя вѣсти.

Пестрая бумага кромѣ того указываетъ, что лѣстница, хотя и узенькая, и безъ ковра, но хозяинъ отъ роскоши не уклоняется и ничего для жильцовъ не жа-

На второй площадкѣ окно тоже оклеено бумагой, но съ простыми синими квадратиками, безъ всякихъ львовъ и гербовъ. Очевидно, переходъ отъ роскошнаго витро къ простому стеклу псказался слишкомъ рѣзкимъ и жестокимъ. Кто-то смягчилъ его, сколько могъ. Слѣдующія площадки простыя, голыя и будничныя.

Въ квартирѣ номеръ первый живетъ мосье Маргу. Кто онъ, — никто не знаетъ. Думаютъ, что хозяйскій

родственникъ или знакомый. Почему такъ думаютъ — неизвѣстно. Можетъ быть, потому, что его обслуживаетъ шикарное окно. Этого Марту никто никогда не видѣлъ. Но всѣ его терпѣть не могутъ. Всѣ — это остальные жильцы этого дома, сплошь русскіе, между собой знакомые.

Такъ и говорятъ.

— Какой-то гнусный типъ, вродѣ этого нашего Марту.

Навѣрное сидитъ и деньги копить.

— У насъ съ вами никогда ничего не будетъ, а вотъ такіе Марту...

Во второмъ русская шляпница. Или вышивальщица. Я ее не знаю.

Въ третьемъ, — кажется, тоже вышивальщица.

Она, очевидно, все куда то бѣгаетъ, потому что къ двери часто приколоты булавкой записка:

„Дорогой Константинъ Андреевичъ! Ради Бога, ожидайте. Сейчасъ вернусь. Ключъ подъ ковромъ.“

Въ четвертомъ номерѣ всегда чуть-чуть приоткрыта дверь и стрекочетъ пишущая машинка.

Въ пятомъ страшный крикъ. Три, четыре голоса, всегда разныхъ, надрываясь, всегда кричатъ на всѣ темы дня и вѣчности. О Горькомъ, о любви, о вчерашнемъ убійствѣ, объ измѣнѣхъ подлаго Жуликова ангелу Сонечкѣ, о жадности Шеркиныхъ и путяхъ антропософіи.

Верхнія ноты голосовъ достигаютъ до мансарда. Нижнія спускаются вплоть до гнуснаго Марту, но къ дверямъ приколоты бумажка: „Дома нѣтъ“.

На дверяхъ шестого этажа наклеена карточка: „Constantin de Khlebopekoff. Стучите громче — я сплю“.

Выше — седьмой этажъ, гдѣ я бываю. Еще выше — мансарда.

\* \* \*

У каждой лѣстницы свое дыханіе, свой запахъ. Онѣ пахнутъ краской, пудрой, лакомъ, духами. И каждая особенно! Вы можете не замѣчать этого запаха, но нервы ваши его получаютъ и запоминаютъ. Тотъ моментъ, когда вы останавливаетесь около закрытой двери (всегда безпкойна и немного страшна закрытая дверь. Закрыта ея жизнь, въ которую вы сейчасъ вступите, закрыто будущее, какое бы ничтожное оно ни было)

Такъ вотъ въ этотъ моментъ, когда вы прижимаете кнопку звонка и слышите, какъ звякнулъ онѣ по ту сторону стѣны, въ этомъ маленькомъ, почти незамѣтномъ волненіи— всѣ свѣты, блики, шорохи, топоты, запахи, флюиды лѣстницы входятъ въ васъ. И, можетъ быть, черезъ много лѣтъ, встрѣтивъ тѣхъ, кого вы въ этомъ домѣ видали, вы вдругъ почувствуете странную, мутную тревогу, которую сознать невозможно: это нервы повторяютъ вамъ безпкойныя краски витро, и запахъ духовъ и горѣлаго масла, и тихій трескъ звонковъ, и звуки голосовъ.. Вся лѣстница того дома.

Зимой, когда я прочла записку на двери номеръ третій, умоляющую „дорогого Константина Андреевича“ обождать, было уютно отъ наглухо запертыхъ оконъ. Казалось, какъ будто жизнь за всѣми этими дверями стала напряженнѣе, гуще. Глуше и голоса въ пятомъ номерѣ. И новая записка: „Катя, скажи Лизѣ, что Гриша приходилъ и ушелъ къ Столѣшникову за Петромъ Ардальоновичемъ. Портниха пуговицъ не пришила, пусть Саша поищетъ. Ключъ подъ коврикомъ“.

Да — и Саша, и Лиза, и Катя — всѣ суетились, говорили, жили.

Въ четвертомъ номерѣ, какъ всегда, дверь была пріоткрыта и стучала машинка.

Небольшой перерывъ — мѣсяць, полтора.

На двери номеръ третій приколота записка:

„Константинъ, я ушла за рыбой. Твоя на всю жизнь Женья. Ключъ подъ коврикомъ“.

Такъ же кричали, надрывались въ пятомъ номерѣ. Въ шестомъ на карточкѣ Constantin Khlebovrekoff была зачеркнута просьба стучать громче и сдѣлана приписка: „Я въ третьемъ номерѣ“.

И еще миновали дни.

И на двери номеръ третій записка спѣшнымъ почеркомъ: „Котикъ, не сердись, воротнички ыгладила, платки на комодѣ. Твоя ничтожная Женька“.

Дверь номеръ пятый закрыта. Въ первый разъ вижу ее закрытой. Но машинка стучить. Нервно, съ большими перерывами.

Наверху de Khlebovrekoff приписалъ на карточкѣ; „Я въ пятомъ номерѣ“.

\* \* \*

Помните вы нашу петербургскую весну большихъ бѣдныхъ, грязныхъ дворовъ? Запахъ кошекъ, воробьиные вскрики дѣтей, сладострастные всхлипыванія шарманки? И свѣтъ бѣлыхъ ночей, какъ солнце привидѣнній, не бросающее тѣни... Сколько бредовой тоски было въ нашей весенней тревогѣ и счастье нашей весны убивгло, какъ печаль.

Парижская весна проще, яснѣе, безъ четвертаго измѣренія. И подходъ къ ней, переходъ въ нее, незамѣтенъ и неошутимъ.

Консьержка скажетъ:

— *Quel beau temps!*

Въ окнахъ прачешной заликують пестрыя платья.

Но вѣдь консьержка говорила иногда и зимой — о „beau temps“. И платья пестрѣли въ окнахъ прачешной. А деревья такъ быстро смѣнили листву, что она кажется еще прошлогодней.

Можетъ быть, въ свѣтлыхъ, чистыхъ парижскихъ дворикахъ весной чаще слышится тугое барабанное хлопанье вытряхаемыхъ ковровъ...

А помните весеннее пѣніе изъ открытыхъ оконъ подвала?

Мама-шень-ка руга-ала,  
Чи-и-во я такъ блѣ-дна“.

Идіотскія слова, но какъ чудесно подхватывалъ второй голосъ, и печаль, и любовь божественнымъ нимбомъ озаряли некрасивость, и грубость и пошлость произносимыхъ словъ.

Парижская весна не поетъ. Тихіе дворы гремятъ по утрамъ жестянками отъ „ордюровъ“ Пѣсни во Франціи нѣтъ. Какъ странно, пока не привыкнешь и не забудешь (не забудешь!), путешествуя, проѣзжать мертвыя деревни и поля, не звенящія голосами жницъ...

Я поднимаюсь по лѣстницѣ.

На двери номеръ третій записка:

„Котикъ! Умоляю! Вернись! Ключъ подъ коврикомъ Котикъ, я умру.“

А наверху у Constantin Khleborokoff совсѣмъ исчезла карточка. Но къ ручкѣ двери кто-то привязалъ букетъ ландышей. Онъ давно завялъ.

Отчего же нѣтъ карточки?

Ахъ, да...

Дверь номеръ пятый плотно закрыта, и стука машинки не слышно.

## Весна весны

Бхать по желѣзной дорогѣ всегда было интересно, а тутъ еще это странное приключеніе...

Началось такъ: тетя Женя задремала. Лиза достала книгу — стихотворенія Алексѣя Толстого — и стала читать. Стихи Ал. Толстого она давно знала наизусть, но держать въ рукахъ эту книгу было само по себѣ очень пріятно: зеленая съ золотомъ. а на внутренней сторонѣ переплета наклеена бумажка вѣдомства Императрицы Маріи, свидѣтельствующая, что „книга сія дана ученицѣ второго класса Елизаветѣ Ермаковой въ награду за хорошее поведеніе и отличные успѣхи“.

Лиза раскрывала наугадъ страницы и читала.

А противъ нея сидѣлъ чернобородый господинъ, „старый, навѣрное лѣтъ сорока“, и внимательно ее разсматриваль.

Замѣтивъ это, Лиза смугилась, заправила волосы за уши. А господинъ сталъ смотрѣть на ноги. Тутъ ужъ навѣрное все обстояло благополучно — башмаки были новые. Чего же онъ смотреть.

Господинъ опять перевелъ глаза на ея лицо, чуть чуть улыбнулся, покосился на тетю Женю, снова улыбнулся и шепнулъ:

— Какая прелесть!

Тутъ Лиза поняла: онъ влюбился.

И сейчасъ же инстинктъ, заложенный въ каждомъ женскомъ естествѣ, даже въ такомъ, пятнадцатилѣтнемъ, потребоваль: „влюбленъ — доканать его окончательно!“.

И, скромно опустивъ глаза, Лиза развернула книгу такъ, чтобы онъ могъ видѣть похвальный листъ. Пусть пойметъ, съ кѣмъ имѣеть дѣло.

Подняла глаза: а онъ даже и не смотритъ. Не понимаетъ, очевидно, что это за листъ наклеенъ.

Повернула книгу совсѣмъ бокомъ. Будто разсматриваетъ корешокъ. Теперь ужъ и дуракъ сообразить, что недаромъ здѣсь казенная печать и всякія подписи...

Какой странный! Никакого вниманія. Смотритъ на шею, на ноги. Или близорукій?

Подвинула книгу на колѣняхъ къ нему поближе.

— А-а!

Тетка проснулась, вытянулась вверхъ, какъ змѣя, и водить глазами съ Лизы на бородача и обратно. И щеки у нея трясутся.

— Лиза! Пересядь на мое мѣсто.

Голось у тетки деревянный, отрывистый.

Лиза подняла брови удивленно и обиженно. Пересѣла.

Бородачъ — какъ онъ умѣетъ владѣть собой! — спокойно развернулъ газету и сталъ читать.

Лиза закрыла глаза и стала думать.

Ей было жаль бородача. Она его не любила, но могла бы выйти за него замужъ, чтобы покоить его старость. Она знала, что для него это была роковая встрѣча, что онъ никогда ея не забудетъ и ни съ одной женщиной съ этихъ поръ не найдетъ не только счастья, но даже забвенія. И всегда, какъ тѣнь, онъ будетъ слѣдовать за ней... Вотъ она выходитъ изъ церкви въ подвѣчномъ платьѣ подъ руку съ мужемъ... И вдругъ надъ толпой... черная борода. Поднимается молча, но съ упрекомъ... И такъ всю жизнь. А когда она умретъ, всѣ будутъ страшно поражены, увидя у ея гроба черную бороду, блѣдную, какъ смерть, съ огромнымъ вѣнкомъ изъ лилій... нѣтъ, изъ розъ... иаъ красныхъ розъ... Нѣтъ изъ бѣлыхъ розъ... изъ бѣлыхъ тюльпановъ..

Лиза долго выбирала вѣнокъ на свой гробъ. И когда наконецъ, прочно остановилась на бѣлыхъ розахъ, поѣздъ тоже остановился.

Она открыла глаза. Кто то вылѣзаль изъ ихъ купэ. Чемоданъ застрялъ въ дверцѣ. Вылѣзающій обернулся...



Бородачъ! Бородачъ уходиль... Спокойно и просто, даже газету прихватиль. И глазъ на Лизу не подняль ..

И это послѣ всего того, что было!

Какіе странные бываютъ на свѣтѣ люди...

Въ пять часовъ вышли на вокзалъ обѣдать.

Празднично было въ огромной залѣ буфета. Цвѣты въ вазахъ, то есть собственно говоря не цвѣты, а крашенный ковыль, посреди стола группами бутылки съ виномъ, блескъ никелированныхъ блюде, изступленная бѣготня лакеевъ. И все плаваетъ, какъ въ соусѣ, въ упоительномъ вокзальномъ воздухѣ, безпокойномъ и радостномъ, съ его весеннимъ быстрымъ сквознячкомъ и запахомъ чего то паренаго, перченнаго, чего дома не бываетъ. И чудесно это чувство безпричинной тревоги: знаешь, что твой поѣздъ отойдетъ только черезъ двадцать пять минутъ, а каждый выкрикъ, стукъ, звонокъ, быстро прошагавшая фигура — волнуешь, торопитъ, ускоряетъ пульсъ.

— Время есть, торопиться нечего.

Нечего то нечего, а все-таки ..

И когда швейцарь ударить два раза въ колоколь, густо и однотонно прокричить, жутко скандируя слова: „Второй звонокъ. Поѣздъ ва Жмеринку Волочискъ“ и сидящій насупротивъ господинъ, швырнувъ салфетку, вскочить съ мѣста и, схвативъ чемоданъ ринется къ двери, вы уже невольно отодвинете тарелку и станете искать глазами своего носильщика.

Рядомъ съ Лизой сидѣлъ молоденькій студентъ въ нарядномъ бѣломъ кителѣ и гвардейской фуражкѣ. Надувалъ верхнюю губу, щупая не растутъ ли усы и смотрѣлъ на Лизу глазами, блестящими, пустыми и веселыми, какъ у молодой собаки.

Онъ былъ очень благовоспитанный, очень свѣтскій. Взялъ со стола солонку съ дырочками и прежде чѣмъ посолить свой супъ, спросилъ у Лизы:

— Вы разрѣшите?

И рука съ солонкой такъ и оставалась поднятой, ожидая отвѣта въ полной готовности поставить соль назадъ, если Лиза не разрѣшить.

Лиза съ апетитомъ принялась, было, за свою куриную котлетку, но послѣ этой исторіи съ солонкой почувствовала себя такой прелестной и тонной, что улетать за обѣ щеки было бы совершенно неприлично. Она со вздохомъ отодвинула тарелку.

— Что же ты? — спросила тетка. — Вѣчныя теоріи. А черезъ полчаса ѣсть запросишь.

Какъ все это грубо! „Ѣсть запросишь!“

Послѣ „этого“ на него и взглянуть было страшно. Вдругъ — смѣется?

Потомъ гуляли съ теткой подъ окнами вагона.

Вечеръ былъ удивительный. Пахло дымомъ, углемъ. Желѣзный стукъ, желѣзный звонъ. Розовое небо, на которомъ странно горѣли два огонька семафора — зеленый и красный — точно для кого-то уже началась ночь. А удивительнѣе всего была маленькая березка, вылѣзшая на самую дорогу, въ дѣловой, технической и официальной поворотъ между двумя путями рельсъ. Глупенькая, лохматая, — вылѣзла и не понимаетъ, что ее раздавить могутъ.

И во всемъ этомъ — и въ розовомъ небѣ, и въ звонкахъ, и въ березкѣ была для Кати особая тревога — ну какъ это объяснить? — тревога, которую мы выразили бы въ образѣ молоденькаго студента съ солонкой въ рукѣ. Но это мы такъ выразили бы, а Лиза этого не знала. Она просто только удивлялась — отчего такъ необыченъ этотъ весенній вечеръ и чувствовала себя прекрасной.

— Зачѣмъ ты дѣлаешь такое неестественное лицо? — неудомѣвала тетка. — Стянула ротъ сердечкомъ, какъ просвирнина дочка..

Третій звонокъ.

Проходя въ свое купэ, Лиза увидѣла студента въ коридорѣ. Онъ ѣхалъ въ томъ же вагонѣ.

\* \* \*

Ночь

Тетка спитъ. Но еще укладываясь, сказала Лизѣ:

— Постой въ коридорѣ, если тебѣ душно.

И она стоитъ въ коридорѣ и смотритъ въ окно на мутныя лунныя полянки, на сѣрые кусты, сжавшіеся въ ночномъ туманѣ въ плотныя упругія купы. Смотритъ.

— Я сразу понялъ, кто вы, какая вы, — говоритъ студентъ, надувая верхнюю губу и потрагивая усики, которыхъ нѣтъ. — Вы типъ пантеры съ зелеными глазами. Вы не умѣете любить, но любите мучить. Скажите, почему вамъ такъ нравится чужое страданіе?

Лиза молчала, дѣлая „блѣдное лицо“, то есть втягивая щеки, закатывала глаза.

— Скажите, — продолжалъ студентъ, — васъ никогда не тревожатъ тѣни прошлаго?

— Д-да, рѣшилась Лиза. — Одна тѣнь тревожитъ.

— Разскажите! Разскажите!

— Одинъ человѣкъ... совсѣмъ недавно.. и онъ преслѣдуетъ меня всю жизнь... съ черной бородой, безумно богатый. Я не виновата, что не люблю его!

— А въ томъ, что вы сознательно увлекали его — вы тоже не виноваты?

Лиза вспомнила, какъ подсовывала ему книгу съ похвальнымъ листомъ. Потомъ ей показалось, что она сверкала на какихъ то балахъ, а онъ стоялъ у стѣны и съ упрекомъ слѣдилъ за ней... Вспомнился и вѣнокъ изъ бѣлыхъ розъ, который онъ, кряхтя и спотыкаясь, тащилъ ей на гробъ...

— Без-зумная!.. — шепталь студентъ. — Пантера! Я люблю васъ!

Лиза закрыла глаза. Она не знала, что ротъ у нея отъ волненія дрожитъ, какъ у маленькой дѣвочки, которая собирается заплакать.

— Я знаю, намъ суждена разлука. Но я разыщу васъ, гдѣ бы вы ни были. Мы будемъ вмѣстѣ! Слушайте, я сочинилъ для васъ стихи, Вы гуляли по платформѣ съ вашей дамъ де компани, а я смотрѣлъ на васъ и сочинялъ.

Онъ вынулъ записную книжку, вырвалъ листокъ и протянулъ ей.

— Вотъ возьмите. Это посвящается вамъ. Посмотрите, какой у меня хорошенькій карандашикъ. Это мнѣ мама... — И онъ осѣкся, — ..одна дама подарила.

Лиза взяла листокъ и прочла:

„Погасъ послѣдній лучъ несбыточной мечты,  
Волшебной сказкою прошла весна и лѣто,  
Пѣснь дивная осталась недопѣта,  
А въ сердцѣ — ты“.

— Почему же „прошли весна и лѣто“? — робко удивилась Лиза.

Студентъ обидѣлся.

— Какая вы странная! Вѣдь это же поэзія, а не протоколъ. Какъ же вы не понимаете? Въ стихахъ главное — настроеніе.

Подошелъ кондукторъ, посмотрѣлъ у студента билетъ, потомъ спросилъ, гдѣ его мѣсто.

Оба ушли.

Тетка пріоткрыла дверцу и соннымъ голосомъ велѣла Лизѣ ложиться.

Милые, тревожные, вагонные полусны...

Вѣки горять. Плывають въ мозгу лунныя полянки, лунныя кусты. Кусты зовутся „я люблю васъ“, полянки „а въ сердцѣ ты“...

На долгой остановкѣ она проснулась и оттянула край тугой синей занавѣски.

Яркое желтое солнце прыгало по забрызганнымъ доскамъ платформы. Отъ газетнаго кіоска бѣжалъ безъ шляпы пузатый господинъ, придерживая рукой разстегнутый воротъ рубашки. А мимо самага Катинаго окна быстро шелъ студентъ въ бѣлой гвардейской фуражкѣ. Онъ прі-

остановился и сказалъ что-то носильщику, несшему желтый чемоданъ. Сказалъ и засмѣялся и блеснулъ глазами пустыми и веселыми, какъ у молодой собаки. Потомъ скрылся въ дверяхъ вокзала.

Носильщикъ съ чемоданомъ пошелъ за нимъ слѣдомъ.

\* \* \*

Началось лѣто. Шумное, прозаическое въ большой помѣщичьей семьѣ съ братьями-гимназистами, съ ехидными взрослыми кузинами, съ гувернантками, ссорами, купаньями и ботвиньей.

Лиза чувствовала себя чужой.

Она — пантера съ зелеными глазами. Она не хочетъ ботвиньи, она не ходитъ купаться и не готовитъ заданныхъ на лѣто уроковъ.

И не думайте, пожалуйста, что это смѣшно. Увѣрю васъ, что пятидесятилѣтній профессоръ ведетъ себя точно такъ же, если войдетъ въ поэтически-любовный кругъ своей жизни.

Такъ же туманно, почти безсознательно мечтаетъ онъ и такъ же надѣется, самъ не зная на что, но сладко и трепетно и такъ же остра для него горькая боль разочарованія.

Ахъ, все то же и такъ же!...

— Онъ поэтъ, — думаетъ Лиза. — Онъ разыщетъ меня, потому что у поэтовъ въ душѣ вѣчность.

И ночью встаетъ и босикомъ идетъ къ окошку смотреть, какъ бѣгутъ на луну облака.

— „Угасъ послѣдній лучъ несбыточной мечты“, — шепчетъ она цѣлый день.

И вдругъ:

— Что ты все это повторяешь? — спрашиваетъ ехидно кузина. Это романсъ, который еще тетя Катя пѣла.

— Что-о?

— Ну, да. Еще кончается, „а въ сердцѣ ты“.

— Не ммо-можетъ ббыть... Это стихи одного поэта...  
Не мо...

— Ну, такъ что же? Написанъ романсъ лѣтъ десять  
тому назадъ. Чего ты глаза выпучила? И вся зеленая. Ты,  
между прочимъ, ужасная рожа.

Лѣтъ десять тому назадъ!...

Лиза закрыла глаза.

О, какъ остра горькая боль разочарованія!

— Чай пи-ить! — закричалъ изъ столовой звонкій,  
пошлый голосъ. — Землянику принесли! Кто хочетъ зем-  
ляники? Скорѣй! Не то Коля все слопаеть!..

Лиза вздохнула и пошла въ столовую



## О К Н О

Какъ мы привыкли къ чудесамъ, къ тѣмъ буднич-  
нымъ чудесамъ, которыя вошли въ укладъ нашей жизни!  
Мы и не замѣчаемъ ихъ.

Я говорю не о безпроводномъ телеграфѣ и не о  
трансокеанскомъ телефонѣ. Я говорю сейчасъ о такой про-  
стой и привычной вещи, о которой никому и въ голову  
не придетъ, что она чудо. Я говорю объ — окнѣ.

Тонкая, твердая, непроницаемая стѣна отдѣляетъ меня  
отъ міра.

И стѣна эта прозрачная.

У меня тепло, полутемно.

Тамъ, „въ мірѣ“, дуетъ вѣтеръ, листья летятъ по  
воздуху. И свѣтитъ солнце. Я вижу все, что тамъ дѣла-

ется. Я какъ въ шапкѣ невидимкѣ. Твердая стѣна отдѣляетъ меня. Твердая — никто меня не тронетъ. И прозрачная — я вижу все.

\* \* \*

Мое окно выходитъ на бульваръ. Два большихъ дерева качаются, шевелятъ вѣтками, точно размышляютъ.

Интересно — какъ они познаютъ мѣръ? Что сказали бы, если бы имъ данъ былъ даръ слова?

Сказали бы:

— Мокро.

— Сухо.

— Холодно.

— Капаешь.

Такъ что пожалуй — пусть лучше молчать.

Въ зеленыхъ ихъ вѣткахъ живутъ воробьи.

Вотъ одинъ перелетѣлъ ко мнѣ на подоконникъ, увидѣлъ крошку сухаря и заплясалъ вокругъ, примѣриваясь клюнуть.

И въ ту же минуту прилетѣлъ другой, взерошенный, восторженный, засуетился, зачирикалъ, запрыгалъ и долбанулъ сухую крошку такъ сильно, что она скатилась съ подоконника.

Первый остановился, раскрывъ клювъ и свернувъ голову на сторону — удивленный и злой. Но второй этого ничего не видѣлъ и даже не понималъ, что загубилъ цѣлый обѣдъ. Онъ задралъ голову къ небу, къ солнцу и верещить восторженно и сладко, а когда обернулся — ища сочувствія, поддержки, отзвука — подоконникъ былъ уже пустъ. Негодующій другъ улетѣлъ, не дослушавъ.

И восторженный воробей растерянно пискнулъ, повертѣлъ головой, весь какъ-то надулся и притихъ, опустивъ носъ.

Я тихонько постучала по окну. Онъ даже и не вздрогнулъ. Ого! Дѣло серьезное...

— Воробей! Бросьте! Васъ не поняли? Поэтъ долженъ быть одинокъ. Грубое существо обидѣлось на вашъ неловкій жестъ, котораго вы, поэтъ, даже не замѣтили. Если бы вы были человѣкомъ, вы надѣлали бы еще больше безтактностей. Вы навѣрно вывернули бы графинъ краснаго вина на новое платье своей воробихи.. Ну! Поднимите клювъ! Попищите о солнцѣ, о лазури, о веснѣ. За твердой, непроницаемо-прозрачной стѣной васъ кто то невидимый будетъ ласково слушать...

\* \* \*

Торжественный выѣздъ: сынъ нашего булочника тащить черезъ дорогу на середину бульвара свой автомобиль.

Автомобиль въ метръ длинны. Владѣльцу пять лѣтъ.

Внутри автомобиля педали, которыя надо вертѣть ногами. Есть и гудокъ. Чудесный автомобиль!

За сыномъ булочника семенить мальчикъ поменьше. Онъ все норовитъ помочь, принять участіе, хоть какънибудь примазаться къ этому дѣлу. То забѣжитъ съ одного бока, то съ другого. Вотъ нагнулся и, оттянувъ рукавъ своей курточки, спѣша и стараясь, потеръ колесо.

Хозяинъ мрачно отстранялъ рукой каждое его поползновеніе. А за то, что тотъ осмѣлился вытереть рукавомъ драгоценное колесо, — даже разсердился и толкнулъ нахала въ грудь.

Вотъ онъ усѣлся, затрубилъ и поѣхалъ.

А тотъ, другой, бѣжалъ рядомъ. Бѣжалъ рядомъ и улыбался восторженно и жалко, гордясь, что онъ не совсѣмъ чужой этому великолѣпію, что онъ вытиралъ и его даже въ грудь толкали... Вотъ владѣлецъ остановился. Онъ не умѣетъ круто поворачивать. Онъ вылѣзаетъ и поворачиваетъ весь автомобиль руками.



А тотъ другой, помогаетъ, хотя его и отталкивають и грубо что то втолковываютъ — вѣроятно, что машина это вещь нѣжная и дорогая и кто попало дотрагиваться до нея не долженъ. Потомъ владѣлецъ снова усѣлся и закрутилъ ногами А тотъ — вѣдь эдакій негодяй! — потихоньку вытеръ таки какую-то пылинку сзади на крыльѣ. И опять побѣжалъ рядомъ, спѣша и спотыкаясь...

Вы думаете — что такъ и опредѣлится судьба этого мальчика? Бѣжать за чужой колесницей, прислуживать чужой удачѣ, безкорыстно, восторженно?

Ну, нѣтъ!

Если умѣете смотрѣть черезъ твердую прозрачную стѣнку, вы давно знаете, что дѣлается потомъ съ этими забытыми, кроткими мальчиками.

Никогда, во всю долгую человѣческую жизнь, не забудеть мальчикъ этого чужого автомобиля, за которымъ презираемый, бѣжалъ въ восторгѣ горькомъ и пламенномъ. Не забудеть и не простить.

Съ годами въ душѣ его все ярче, богаче, пынѣе будетъ дѣлаться этотъ торжествующій автомобиль, все униженнѣе и обиженнѣе эта маленькая фигурка, которая бѣжитъ задыхаясь и спѣша.

Какой огромной платы потребуеть онъ отъ жизни! И все будетъ мало.

Всегда будетъ ему казаться, что какая то яркая, торжествующая колесница мчитъ избранныхъ къ несказанной, нечеловѣческой радости, а онъ бѣжитъ сзади, презрѣнный и жаждущій.

Съ какимъ наслажденіемъ будетъ онъ унижать другихъ и карабкаться вверхъ, хватая, отнимая все, что зацѣпятъ жадныя руки, чтобы только накормить свое голодное сердце.

Конечно, онъ забудеть и булочникова мальчишку, и его игрушку, но можетъ быть, много лѣтъ спустя, станеть ему сниться какой то маленькій дѣтскій автомобильчикъ и

потомъ весь день онъ будетъ тосковать тяжело и злобно, и не пойметъ почему и, какъ бы высоко не вознесла его жизнь, почувствуетъ себя ничтожнымъ и обиженнымъ. Потому что надо было въ томъ далекомъ прошломъ (вотъ сейчасъ, сейчасъ...) какъ то избыть свое униженіе, а колесо времени вертится только въ одну сторону и нѣтъ такого счастья въ мірѣ, которое могли бы мы бросить назадъ покрыть имъ, угасить на вѣки..

Никогда судьба не искупитъ своего зла..

Какое, можетъ быть, чудовище создается подъ щебетъ воробьевъ, двумя играющими сейчасъ, въ этотъ вѣтренный весенній день, дѣтьми..

\* \* \*

У подъѣзда стоитъ консьержкинъ внукъ.

Я его знаю.

У него огромные глаза, худенькое ушастое личико, вся фигурка устремленно-восторженная. И у него длинные романтическіе кудри до плечъ.

Всю зиму съ нимъ играла маленькая толстая дѣвочка, дочь лавочкицы. Недавно ее увезли и онъ цѣлые дни стоялъ одинъ у подъѣзда, заложивъ руки за спину и прижавшись къ стѣнѣ.

Тогда кто то подарилъ ему большую заводную бабочку. Бабочка жужжала и билась въ рукъ, какъ живая. Онъ немножко боялся ее, когда она такъ билась, но когда успокаивалась — робко гладилъ ея твердыя, блестящія крылья.

— Ле пти муозо... — шепталъ онъ.

Онъ считалъ ее птицей, а „музао“ было среднее между oiseau и moineau. А, можетъ быть, просто еще не могъ выговаривать.

— Ты скучаешь безъ маленькой Сильвы? — спросила я у него.

Онъ поднялъ свои длинныя рѣсницы и показалъ въ своихъ огромныхъ глазахъ такую нѣжную глубокую печаль, какую взрослые никогда не даютъ увидѣть. Взрослые прячутъ ее, опуская вѣки..

— Сильва...Сильва... — и онъ лепеталъ что-то волнуясь и краснѣя.

Я съ трудомъ поняла. Мысль эта была очень сложная: если бы Сильва не уѣхала, она стала бы заводить, пружинку „пти муазо“, и сломала бы „пти муазо“. Такъ что въ общемъ выходило даже какъ будто все къ лучшему.

Теперь, значить, можно будетъ наконецъ спокойно жить и работать.

Вотъ онъ сейчасъ стоитъ у стѣны. Одна рука за спиной, въ другой „муазо“.

У „муазо“ недвижно висятъ оба крыла. Съ нимъ дѣло конченное,

Что же теперь?

Какъ утѣшаетъ себя маленькій человѣкъ?

Уходитъ любовь, жизнь опустошается.

— Ну что-жь? — говорятъ. — Тѣмъ лучше. Она вѣдь только мѣшала. Всѣ эти Сильвы всегда перекручиваютъ пружины.

— О чемъ ты такъ задумался? — часто говорить поэту нѣжный голосъ Сильвы. — Ты даже поблѣднѣлъ. Навѣрное что-нибудь сочиняешь?

Крякъ! — пружинка сломана. Ну развѣ можно спрашивать поэта, „не сочиняетъ ли онъ что-нибудь?!“.

Онѣ мѣшаютъ жить! Онѣ закрываютъ жизнь своими руками, поцѣлуями и глупостью..

Маленькій мальчикъ стоитъ, прижавшись къ стѣнѣ. Въ рукѣ у него сломанные кусочки раскрашенной жести его „муазо“, на которомъ онъ рассчитывалъ утвердить основу жизни, одинокой, свободной и разумной.

Онъ вытянулъ тонкую шею, приподнялъ брови печально и недоумѣнно...

Онъ думаль... о Сильвѣ ..

## Дикій вечеръ

У Афанасія Евменіевича была въ нашемъ городѣ въ рядахъ своя лавка краснаго товара, досталась ему отъ отца, бывшаго офени и коробейника. Поэтому и на вывѣскѣ обозначено было:

„Лавка Евменія Харина, по народному прозванію Мины“.

Никто лавку харинской и не звалъ, а всегда говорили „У Мины“.

— Купила у Мины зеленаго бурдо на юбку...

Афанасій былъ купецъ хитрый и при покупателѣ говорилъ съ приказчиками на офенскомъ языкѣ.

— Афанасій Евменьичъ, — скажетъ приказчикъ, — почемъ для барыни манчестеръ?

— Размѣчай по полтора хруста, — отвѣтитъ Харинъ.

Замѣтьте — „хруста“, а не рубля Ну, барыня, конечно и не понимаетъ.

Или скажетъ:

— Торопи ее, не задерживай, скажи, что пора забутыривать дудерку.

Ну, кто тутъ догадается, что дудерка это лавка, а забутыривать — закрывать?

Вотъ этотъ самый хитрый купецъ перехитрилъ и меня, всучивъ мнѣ сов ршенно дрянную таратаечку.

— Ну, сказалъ, повезло вамъ барынька. Есть у меня для васъ таратаечка, англійскій шарабанчикъ. Самъ бы, какъ говорится, ѣлъ, да хозяинъ не велить. Новенькая, высокій фасонъ. Для меня малопомѣстительна, а вамъ для прогулочки лучше и на заказъ не сдѣлають. Вотъ, когда надумаете на Горушку въ гости съѣздить, я туда васъ подвезу, такъ вы и попробуете, что у меня за таратаечка.

Потомъ все посылать своего мальчишку узнавать, не собираюсь ли я на Горушку.

Наконецъ сговорились и онъ заѣхалъ за мной.

Таратаечка была двухколейная, черная, дико высокая — прямо эшафотъ. Передъ самыми колѣнями перильца, сидѣнье высокое.

— Шикъ-съ! — говорилъ Харинъ. — Барскій выѣздъ!

Поѣхали ничего себѣ.

— На ходу то какъ легка! — любовался Харинъ. — И высоко, все тебѣ видать и тебя отовсюду замѣтно. Барскій выѣздъ.

Щурилъ лукавые зеленые глаза, рыжая бородища по вѣтру вѣеромъ. Уговорилъ.

Назадъ отвезти онъ меня не могъ, — торопился подѣламъ.

— Горушинскіе доставятъ. А я вечеромъ таратаечку къ вамъ пришлю и задаточекъ получить прикажите.

Дня черезъ два велѣла я запречь Воронка въ эту самую новую таратаечку и поѣхала одна на Гоуршку.

Для начала поняла, что влѣзть въ нее чистая бѣда. Ступенька приходилась почти на высотѣ пояса. А Воронокъ лошадь беспокойная, и даже въ удобный экипажъ не даетъ сѣсть — дергаетъ. Ну, да ктонибудь ее всегда подержить.

Ѣхать все время въ гору — оттого и называлась усадьба Горушка.

Жили тамъ очень милые люди: близорукой молодой человѣкъ, собиравшій грибы съ биноклемъ и двѣ барышни. Одна считалась красавицей, другая уродомъ, но я за много лѣтъ знакомства такъ и не поняла, которая именно красавица, которая уродъ...

Воронокъ нервничалъ, пугался грачей, лужъ, кучекъ щегля у краевъ дороги. Поднялся вѣтеръ. загудѣлъ въ телеграфной проволокъ.

Подъѣхала къ усадьбѣ, смотрю — ворота заперты. И никого нѣтъ. А домъ далеко, въ глубинѣ аллеи.

Встать и открыть не могу, потому что Воронокъ не дастъ мнѣ снова влѣзть на мой эшафотъ.

Покричала, подождала, еще покричала.

Деревья качаются, гнетъ ихъ вѣтромъ, начесываетъ вершины, какъ косматые чубы на лобъ.

У Воронка грива развѣвается, онъ голову поднятъ, точно прислушивается. И вдругъ, повернулся и скосилъ на меня огромный съ желтымъ, какъ у негра, бѣлкомъ дикій глазъ.

Поднялась черная птица, описала въ воздухѣ большой кругъ, точно заколдовала, пронеслась надъ головой и провалилась за лѣсомъ.

И такая отъ всего этого потянулась тоска — хоть плачь!

Эта вымершая усадьба, мотающіяся деревья, зло-вѣщая птица и дикій глазъ лошади, испуганный и злой... Чувствую, что боится она чего-то. И вдругъ она сама собой побѣжала подъ горку назадъ.

Побѣжала подъ горку и сразу поняла я всѣ Афонины хитрости: почему такъ торопился съ продажей и почему возилъ именно на Горушку таратайку пробовать. На ней только на гору и можно было ѣхать, потому что вся она была неладная съ наклономъ впередъ. Сидѣнье высокое, ноги еле хватаютъ до полу, подушка кожанная, твердая, скользкая, съ сильнымъ покатомъ, усидѣть на ней нѣтъ никакой возможности. Держаться на согнутыхъ колѣняхъ!

Ноги болят, колѣни дрожать. Опуститься бы совсѣмъ на полъ — нельзя. Такъ узко, что только ноги поставить.

Вѣтеръ воетъ, лошадь пугается, уцѣпиться незачто.

Рѣшила — доѣду какънибудь до монастыря, тамъ попрошу лошадь поддержать и переверну подушку внизъ кожей, можетъ быть, если не такъ скользко, такъ и усидѣть можно.

Стало темнѣть.

Вижу, наконецъ, колокольня бѣлѣть. Монастырекъ самъ въ сторонѣ, но около дороги устроили монахи колодецъ съ крестомъ на крышѣ и иконкой. У колодца всегда монашекъ сидитъ и собираетъ съ проѣзжихъ на книжку. Старенькій, рваненькій монашекъ. Помѣщичы няньки имѣтей пугали.

— Вотъ не будешь спать, отнесу тебя къ попику рваному, онъ тебя заставитъ въ колодцѣ колесо крутить, такъ будешь знать!

Старенькій, но лошадь поддержать, конечно, сможетъ.

Подѣзжаю къ колодцу, остановилась. Нѣтъ. Не выходитъ попикъ рваный со своей книжечкой.

Пождала. Позвала.

Никого.

Это ужъ прямо чудо! Точно вымеръ весь бѣлый свѣтъ.

И опять стала лошадь голову поворачивать и чувствую, что она боится.

Чтобы подбодрить ее, закричала басомъ:

— Но-о! Балуй!

И сама испугалась. Испугалась, что дикая ночь наступаетъ и нигдѣ ни живой души, что вѣтеръ воетъ и одна я въ цѣломъ мірѣ, и сажу на черномъ эшафотѣ и кричу басомъ.

И вотъ рѣшилась.

Встала, зацѣпила вожжи за колонку колодца и пошла въ монастырь.

Калитка въ стѣнѣ оказалась не запертой и обрадовалась я этому какъ не знаю какому счастью и совсѣмъ уже увѣренно и спокойно подошла къ низенькому бѣлому строенію — нѣчто вродѣ монастырской гостинницы. Оттуда слышались голоса.

Дверь полуоткрыта.

Вошла.

Сначала показалось мнѣ, что только двое сидятъ за столомъ, да еще мальчишка, что около меня стоялъ у дверей. Одна лампадка горѣла, да тусклый свѣтъ изъ окна. Потомъ разглядѣла — еще люди кругомъ на лавкахъ.

А тѣ за столомъ, двѣ женщины, видимо странницы. Одна старушонка, въ бѣломъ платкѣ, пила чай съ блюдечка. Другая, простоволосая, съ распущенными прямыми волосами, ниже плечъ. Потомъ разглядѣла лучше — не женщина, а парень въ подрясникѣ и сапогахъ. Но лицо странное, скорѣе женское, крупное, продолговатое, какъ яйцо и все запрокинуто кверху, и брови приподняты, словно удивленно прислушивается. Фигура плоская, ширококостная. Сидитъ, смотритъ вверхъ. Молчитъ Рядомъ на столѣ скуфейка.

— Буде хошь дакъ пей — сказала старуха и подвинула ему чайникъ.

— Спаси те... не хочу — прошепталъ парень.

— И голосъ прячетъ, — сказалъ кто то на лавкѣ, очевидно продолжая какой то долгій разговоръ. — Чего жъ ты, если такъ, голосъ прячешь?

У дверей на лавкѣ колыхнулся — теперь я уже могла разглядѣть — какой то мохростый мужикъ не то въ зипунѣ, не то въ подрясникѣ. Все лицо у него было сморщенное, словно сожмуренное. Чолка прядями спускалась на глаза, борода росла прямо изъ подъ бровей — глазъ не видно, смотрѣлъ бровями. Въ рукахъ держалъ длинный кнутъ.

— А гдѣ жъ онъ, бабка, къ тебѣ пристанулъ? — спросилъ мохростый.



— Утромъ, какъ отъ Антонія Дымскаго вышли. Съ самага монастыря.

Старуха отвѣчала нехотя.

— Та-акъ. Та-акъ. Такъ я и зналъ, что съ той стороны

И вдругъ громко крикнулъ мальчишкѣ, что стоялъ около дверей:

— Хлѣвъ заперъ?

— Заперъ

— На жердинку?

— На ворота

— Ну то-то!

Съ лавки поднялся монашекъ — „попикъ рваный“ — я сразу узнала его.

— А вы изъ какихъ будете? — спросилъ онъ меня.

Я назвала себя.

— Развѣ не узнаете?

Монашекъ помолчалъ.

Мальчишка у дверей охнулъ

— О-о! Отецъ-то казначей говорили, быдто онѣ померши.

Старушонка испуганно закрестилась и стала обирать со стола огрызки и прятать въ суму.

— Нѣтъ, говорю, я живая..

— Ну ты! — прикрикнулъ кто-то на мальчишку. — Не путай!..

И потомъ тотъ же голосъ спросилъ меня:

— А вы откуда же такъ пожаловали на ночь глядя?

— У меня лошадь здѣсь у воротъ.

Кто-то что-то шепнулъ, и мальчишка юркнулъ въ дверь, вѣрно провѣрять мои слова.

— Всѣмъ бы имъ осиновый колъ, — пробормоталъ мохрастный съ кнутомъ. — Ишь ходють...

— А въ какомъ же ты монастырю жилъ? — спросилъ кто-то у длинно-волосаго парня.

Тотъ, молча, всталъ и, оставя на лавкѣ свою сукфейку, вышелъ на крыльцо.

— А скажи, бабка, ничего ты за нимъ другого не примѣчала?

Старуха вдругъ разсердилась

— Чего вы привязались то? Я жъ вамъ говорю, что шель отъ Дымей, ну и идетъ, Дорога для всѣхъ.

— Чего вы ее спрашиваете? — насмѣшливо сказалъ мохрастый. — Они же за одно. Вмѣстѣ и ходють.

Вернулся мальчишка.

— Правда, — сказалъ онъ.

Я было хотѣла отдохнуть — дрожали ноги послѣ чертовой таратайки, но было что то такое неладное и зловѣщее въ этой полутемной конуркѣ съ тѣнями, съ голосами, съ непонятными словами. Что это за существо, которое тутъ сидѣло и потомъ такъ странно вышло? И говорятъ, что я умерла и какъ будто не вѣрятъ, что жива. Тяжело, какъ во снѣ.

— Ушелъ онъ что-ли? — спросилъ мохрастый.

— Ушла — отвѣчала мальчишка. — Зашагала по дорогѣ шибко. Прямо летить! Може и летить?

— Побудить бы отца Сафронія, — сказалъ кто то.

— Пойтить къ хлѣву... — всталъ мохрастый.

Когда онъ всталъ — оказался на такихъ короткихъ ногахъ словно на колѣняхъ.

Мнѣ стало гошно. Замутило.

— Мальчикъ, — попросила я. — Пойдемте со мной, вы подержите лошадь, пока я буду садиться..

— Иди, что жъ тутъ. — сказалъ „попикъ рваный“ и тоже поднялся съ мѣста.

Мы вышли къ воротамъ.

— Что же вы не узнали меня? — спросила я попика. — Еще третьяго дня проѣзжала.

Попикъ ничего не отвѣтилъ и зашагалъ впередъ.

— Мальчикъ, — спросила я. — А что это за человекъ тотъ съ волосами?

Мальчишка осмотрѣлся по сторонамъ.

— Тамъ на воротахъ скажу.

— За воротами?

„Попикъ рваный“ уже стоялъ у колодца съ книжкой въ рукѣ и кланялся мнѣ. Я положила на книжку свой даръ.

— Шу... шума, — зашептала мнѣ мальчикъ

— Что?

— Она волосатая то... Чума, коровья смерть. Она съ той стороны и идетъ то съ озеръ.

— Чума?...

Я повернула подушку. Сѣла. Воронокъ рванулъ бокомъ

Сидѣть было такъ скверно и сразу заняли ноги.

Гудѣли проволоки, журчалъ щебень.

Дорога еще видна хорошо, а дальше, въ полѣ, синяя мгла.

И вотъ опять я одна и чувствую какъ боится лошадь.

Никто не откликнулся на мой зовъ тамъ, въ Горушкѣ, и у монастыря никто меня не слышалъ, и говорятъ люди, что я умерла...

Гудятъ проволоки, воютъ. И какъ будто кричить кто-то...

Лошадь храпнула и шарахнулась въ сторону. Я еле усидѣла.

Посреди дороги стояла „Коровья Чума“, огромная, страшная, дикая. Вѣтеръ отмель вбокъ ея длинныя волосы. Она махала руками и не то пѣла, не то кричала во весь духъ, надрывнымъ голосомъ:

„Бѣлы снѣги лопушисты.

Вы покрыли всѣ поля,

Одно поле непокрыто

Горя лютаго мово...“

Воронокъ прыгнулъ и понесъ къ городу.

Скоро загрохоталъ булыжникъ подь колесами.

Старый кучеръ ждалъ меня у воротъ.

— Тихо... тихо. Чего ты? — говорилъ онъ, выгирая полой кафтана шею Воронка. — Волка почуялъ? Ишь дрожитъ. Либо оборотня? А? Оборотня?

— Федоръ, — говорю я. — Снимите меня. Мнѣ нехорошо.

---

## Оборотень

Попала я въ этотъ, занесенный снѣгомъ, городишко далеко не случайно и не потому, что хотѣла повидать провинціальную тетушку. Попала я туда по причинамъ романическимъ: мнѣ нравился Алексѣй Николаевичъ.

Всю осень въ Петербургѣ онъ бывалъ у насъ, танцовалъ со мной на всѣхъ вечерахъ, встрѣчался „случайно“ на всѣхъ выставкахъ и, уѣзжая на мѣсто своей службы (онъ былъ назначенъ судебнымъ слѣдователемъ именно въ этотъ скверный городишко), сказалъ, что любитъ меня и просить быть его жечой.

Я попросила его дать мнѣ срокъ обдумать его предложеніе. На томъ мы и разстались.

Мнѣнія старшихъ были о немъ скорѣе благопріятныя. Бабушка сказала:

— Ну, что-жъ, та сѣге, у него очень приличныя манеры и онъ правовѣдъ.

Одна тетушка сказала:

— Только что институтъ кончила и сразу замужъ выскочишь — молодчина!

Другая тетушка сказала:

— Онъ въ общемъ, кажется, дуракъ. Если при этомъ съ деньгами, такъ чего же тебѣ еще?

А онъ писалъ письма, длинныя и довольно интересныя, когда въ нихъ говорилось обо мнѣ. Но говорилось въ нихъ больше о немъ самомъ, о его сложной душѣ, даже о его снахъ. А снились ему все какія то мистеріи — тощица ужасная. Потомъ пришло приглашеніе погостить отъ провинціальной тетушки и я рѣшила поѣхать и провѣрить себя.

Городишка былъ въ шестидесяти верстахъ отъ желѣзной дороги, совсѣмъ глухой, деревянный, съ монастыремъ за бѣлой рѣчкой въ пуховыхъ снѣгахъ.

Оказалось, что пріѣхала я въ очень оживленное время — въ какой то земскій съѣздъ.

Жениха моего въ городѣ не было. Онъ уѣхалъ на слѣдствіе куда то далеко, въ деревню Озера, рядомъ съ его имѣніемъ.

Для развлечения потащила меня тетушка на съѣздъ, познакомила съ городскими дамами, усадила на стулъ и велѣла слушать.

Залъ, гдѣ все это происходило, былъ довольно большой и биткомъ набитъ публикой. А посреди зала вокругъ стола, покрытаго зеленымъ сукномъ, сидѣли мѣстные дѣятели, все больше бородатые да бровастые въ сюртукахъ, какихъ ужъ сто лѣтъ не носили.

Толковали о чемъ то, спорили. Очень горячился маленькій шепелявый старичекъ и все повторялъ своему противнику, что онъ не можетъ съ нимъ конкурировать. Но вмѣсто конкурировать выговаривалъ „канканировать“.

— „Не могу я съ вами канканировать — вы молоды, а я старъ“.

Потомъ какой-то земскій врачъ сталъ читать тягучій докладъ о томъ, что больница нуждается въ перестройкѣ и что уборную нельзя помѣщать рядомъ съ операціонной. Послѣ этой фразы, одна изъ городскихъ дамъ хихикнула и, подтолкнувъ меня локтемъ, сказала:

— Наслушались мы сегодня пикантностей!

Среди лохматыхъ земскихъ врачей, сидѣлъ нѣсколько поодаль одинъ, поразившій меня своимъ страннымъ лицомъ. Худой, съ маленькой безформенной бородкой, онъ былъ, если такъ можно выразиться, ослѣпительно блѣденъ и сидѣлъ съ закрытыми глазами. Точно мертвый. Я долго смотрѣла на него и вдругъ онъ, точно почувствовавъ мой взглядъ, быстро поднялъ глаза прямо на меня и закрылъ ихъ снова. И нѣсколько разъ онъ такъ взглядывалъ на меня вопросительно, словно удивленно

— Это вы что, съ молодымъ человѣкомъ переглядываетесь? — спросила меня сосѣдка, та самая жантильная дама, которая говорила о пикантностяхъ. — Не стоитъ того. Совсѣмъ не интересный мужчина. Его никто не любить.оборотень какой то.

Вечеромъ у тетки были гости. Приѣхала на парѣ бѣлыхъ лошадей самая важная городская дама, чья-то вдова, по прозвищу — именно изъ-за этихъ лошадей — архирейша. Это была самая главная городская сплетница. Поэтому она ужъ знала, что я на съѣздѣ смотрѣла на блѣднаго доктора.

— Нашли тоже, душенька, на кого смотрѣты! Его и мужики терпѣть не могутъ. Прозвали оборотнемъ. На что ни взглянетъ, все вянетъ.

И тутъ же рассказала, что докторъ эготъ — Оглановъ его фамилія — въ здѣшнихъ мѣстахъ недавно, всего второй годъ, но дѣды и прадѣды его жили здѣсь и были богаты и знамениты и разоренное имѣніе ихъ осталось и докторъ тамъ и живетъ, а отецъ докторовъ никогда здѣсь и не показывался.

Домъ у нихъ страшный, большой каменный, съ легендами, даже какимъ то писателемъ записанными. Въ большомъ залѣ, въ стѣнѣ, будто бы замурована живьемъ крѣпостная дѣвушка за строптивость, что ли. А подъ домомъ былъ когда-то огромный подвалъ и въ этомъ подвалѣ

содержались въ тайности десять евреевъ. Вывезъ ихъ правдѣ нынѣшняго Огланова откуда-то, изъ Австріи, и работали эти евреи фальшивыя ассигнаціи, и провѣдало откуда то про это темное дѣло начальство и дошли до стараго Огланова слухи, будто будетъ наряжено слѣдствіе Ничего Оглановъ своимъ евреямъ не сказалъ, только велѣлъ на дворѣ у каждой отдушины сложить запасъ кирпича. А евреи работаютъ себѣ и знать ничего не знаютъ.

И вотъ доносятъ Оглановскіе приспѣшники, что выѣзжаетъ судъ. Въ тѣ времена судъ прямо на мѣсто выѣзжалъ. И тотчасъ позвалъ Оглановъ крѣпостныхъ своихъ каменщиковъ и приказалъ имъ всѣ подвальные отдушины замуровать наглухо. Приѣхалъ судъ, пять дней пилъ, ѣлъ — угощалъ Оглановъ на славу. А въ это время глубоко подъ поломъ задыхались несчастные евреи. Ну, конечно, ничего подозрительнаго не нашли, разъ и подвала у него никакого не оказалось. Съ тѣмъ и уѣхали. А Оглановъ изъ осторожности такъ подвала и не распечаталъ и продолжалъ жить въ своемъ страшномъ домѣ, какъ ни въ чемъ не бывало. И сынъ его жилъ — богатѣйшіе были люди. Но ужъ внукъ — отецъ нашего доктора, съ дѣтства жилъ въ Петербургѣ, все состояніе промоталъ и вотъ этотъ выродокъ совершенно неожиданно объявился сюда въ качествѣ врача.

\* \* \*

Пришло письмо отъ жениха. Звалъ меня въ Озера. Хотѣлъ познакомить съ семьей.

Тетушка пустила меня въ Озера.

— Одной въ такую даль — невозможно. Надо поискать попутчиковъ.

Въ такихъ захолустныхъ городишкахъ подобныя дѣла дѣлаются скоро. Кого то куда то послали, кто то самъ къ намъ прибѣжалъ и живо выяснилось, что такъ какъ кончился съѣздъ и начнется разъѣздъ, то кто-нибудь меня прихватить, кому надо въ сторону Озеръ.

Потомъ забѣжали и сказали, что послѣ завтрака заѣдетъ за мной докторъ Оглановъ, который ѣдетъ какъ разъ въ Озера и какъ разъ къ моему Алексѣю Николаевичу на вскрытіе.

Поѣду, значить, съ Обратнемъ.

Ну, что жъ? Это даже занятно.

Ждала я долго. Уже темнѣть стало, когда онъ заѣхалъ. Наверхъ не поднялся, ждалъ на улицѣ.

Напялили на меня валенки, сверхъ шубки старую теткинину ротонду. Ужасъ!

Вмѣсто нарядной тройки, какъ мнѣ представлялось, ждала меня убогая кибитка и пара лохматыхъ коньковъ гусемъ.

Докторъ поздоровался мрачно, не поднимая глазъ. Изъ поднятаго воротника его шубы — лицо еле видно. Завернулъ мнѣ ноги мѣховымъ одѣяломъ, пахнущимъ кислой овчиной. Пробормоталъ:

— Вамъ будетъ тепло, это великолѣпное одѣяло.

И замолчалъ.

Вотъ ужъ дѣйствительно — на что ни взглянетъ — все вянетъ.

Ѣхали долго молча. Я даже задремала. Скучная, скучная бѣлая дорога, холодное сиреневое небо, туго скрипятъ полозья.

— ...правда?

Это онъ, Обратень, что то говорить.

— Что?

— Правда, что вы мѣвѣста этого слѣдователя?

Лицо повернуто ко мнѣ, блѣдное съ тонкими губами.

А глаза опущены.

— Не знаю...

Я какъ то растерялась.

Онъ снова долго молчалъ. Потомъ вдругъ:

— Ну, что-жъ — богатый и глупый — дѣло подходящее — да?

— А вамъ то что? — спросила я.



— Имѣйте въ виду, — снова, послѣ долгаго молчанія сказалъ онъ, — что его богатство не покроетъ цѣликомъ его злой глупости. Она непременно откуда нибудь выльзетъ. Впрочемъ, мнѣ все это безразлично.

— Тогда почему же вы завели этотъ разговоръ?

Онъ круто повернулся ко мнѣ, но сразу снова спрятался въ свою шубу, даже, кажется, не успѣвъ взглянуть на меня.

— Да, да... Это удивительно — пробормоталъ онъ — Да... вы правы...

И мы оба замолчали. И долгая, долгая тянулась дорога. Сердце болѣло отъ бѣлой тоски безпредѣльныхъ снѣговъ, отъ бренькающаго колокольчика, отъ неподвижной фигуры злого человѣка рядомъ со мной. Ямщикъ на козлехъ качался и молчалъ, какъ мертвый. Страшная надвигалась — мертвая ночь. Хотѣлось спросить, скоро ли мы приѣдемъ, и какъ-то не было силъ заговорить.

Противно было, что на ногахъ моихъ лежитъ одѣяло, которымъ онъ такъ гордится. Ахъ, не надо было ѣхать! Развѣ можно такъ съ первымъ встрѣчнымъ... Тетка дура, зачѣмъ позволила...

Я уснула.

Проснулась потому, что залаяли собаки. Мы вѣзжали въ какую-то усадьбу.

— Я долженъ взять инструменты — сказалъ Оборотень. — Пока изъ деревни приведутъ другихъ лошадей, вы можете погрѣться. Здѣсь мой домъ.

Я не хотѣла идти въ его домъ. Почему онъ не предупредилъ раньше, что мы къ нему заѣдемъ? Но куда же мнѣ дѣться? Надо идти.

Домъ огромный, каменный. Окна забиты снаружи досками, наглухо. Чернѣютъ только три—четыре. Широкой подѣздъ съ колоннами. Но мы остановились у бокового крылечка. Фигура въ тулупѣ съ жестяной лампочкой въ рукѣ открываетъ двери, суетливо ведетъ вдоль длиннаго коридора, черезъ гулкій залъ. Пятна сырости проступаютъ

странными фигурами по стѣнамъ. И бѣгутъ огромныя тѣни обгоняя одна другую.

— Господи! Да вѣдь это и есть тотъ страшный домъ съ замурованными людьми!

— Вотъ здѣсь! — сказалъ Оборотень. Онъ шелъ все время сзади.

Комната почти пустая. Провалившійся диванъ, кожаный стулъ, столикъ. Точно въ тюрьмѣ.

Оборотень пощупалъ печку, сказалъ что то тому, въ тулупѣ и оба вышли.

Я сѣла на стулъ. Сыро въ комнатѣ, холодно. Сижу въ шубѣ.

Тотъ, въ тулупѣ, принесъ охапку дровъ, сунулъ въ печку, долго дулъ, дымилъ, сопѣлъ. Потомъ принесъ мнѣ стаканъ чаю и нѣсколько кусковъ сахару на блюдечкѣ. Потомъ долго не появлялся и, наконецъ, принесъ яичницу на сковородѣ, кусокъ хлѣба и желѣзную вилку. Сковорода была огромная челоуѣкъ на пять. Потомъ принесъ совсѣмъ уже неожиданно кувшинъ съ водой, обшарпанный тазъ, ведро и холщевое полотенце. Поставилъ тазъ на диванъ, точно такъ и полагается, кувшинъ на полъ. Сказалъ: „вотъ“ и ушелъ уже окончательно.

Какой ужасъ все это!

Огромная моя тѣнь колыхается по стѣнамъ. Въ черномъ окнѣ отражается оранжевый огонекъ лампы, столъ и я. Да еще я ли это? Отчего такое узкое блѣдное лицо у меня?

Я вскрикнула и вскочила. Это онъ, Оборотень, смотритъ на меня изъ мѣхового воротника. И какъ я вскочила — сразу увидѣла, что это я. Но успокоиться не могла, забила въ уголь комнаты, откуда окна не было видно и тихонько заплакала.

Снова пришелъ мужикъ въ тулупѣ и сказалъ, что лошади поданы.

Опять заплясали тѣни по стѣнамъ, побѣжали призраки, обгоняя другъ друга, прячась отъ тусклаго огонька лампочки.

Во дворѣ сани, открытыя, деревенскія. Двѣ лошаденки гусемъ, худенькій парнишка на козлахъ, унылая фигура Оборотня. Онъ укутываетъ меня и говоритъ:

— Я же приказалъ кибитку.

— Подъ станowego ушла.

Лошади еле плетутся. Проѣхали лѣсокъ, скатились подъ горку и пошли по унылому пустому полю.

— Что же твой хозяинъ лошадей совсѣмъ не кормить? — говоритъ Оборотень.

Ямщикъ вздрагиваетъ и поворачивается къ намъ лицомъ.

— Да немножко то кормить.

Лицо у него странное. Ротъ распяливается на бокъ, точно онъ во все горло хохочетъ.

— Ты чего дергаешься, болванъ? — вдругъ злобно крикнулъ Оборотень.

— А чаво.. а я ничаво.. — пробормоталъ ямщикъ и отвернулся.

Безконечное голсе поле, только слѣва вдали виднѣлась полоска лѣса. Вѣтеръ дулъ, поддувалъ подъ ненавистное докторово одѣяло, забирался въ рукава шубки.

— Отчего далеко отъ берега взялъ? — кричитъ снова Оборотень. — Тамъ бы ближе.

И снова ямщикъ вздрогнулъ и повернулся.

— А ты чаво? Може искупаться хочешь?

— Что-о?

— Не видишь, что ли?

Онъ показалъ кнутомъ на черныя длинныя полосы на снѣгу около лѣсной опушки.

— Полыни... — пробормоталъ докторъ. — А зачѣмъ тебя хозяинъ сегодня послалъ? Другого у васъ нѣтъ, что ли?

— Ягоръ подъ становаго ушелъ, — дергая плечами, отвѣтилъ парень.

— Не дергайся, подлець! — дикимъ голосомъ закричалъ Оборотень.

Я больше не могла.

-- Докторъ! — сказала я, — зачѣмъ вы его браните? Это ужасно!

— Не вмѣшивайтесь, — отвѣтилъ Оборотень вполголоса. — Это единственное средство сдержать его...

Я ничего не понимала и спрашивать боялась. Спросила только:

— Почему тамъ полыньи?

-- Полыньи? Мы же озеромъ ѣдемъ. Мы должны четыре озера, одно за другимъ...

Поднялись на горку, проѣхали лѣсокъ и снова спустились и опять снѣгъ и вѣтеръ, снѣгъ и вѣтеръ. Безъ конца. Сани ныряли и раскатывались. Меня зазнобило, стало тошно, какъ въ морѣ, во время малой качки.

— А во-во... во... во...

Ямщикъ повернулся къ намъ и показывалъ кнутомъ куда то вправо за нами. Я обернулась: три темныхъ точки двигались по снѣгу одна за другой.

— Что это?

— Робята говорили, ты за собой ихъ водишь! — истерическимъ голосомъ выкликнулъ парень и снова дернулся къ лошадамъ и еще что то сказалъ. Мнѣ ясно послышалось:

— Оборотень

Или это мнѣ показалось?

— Что это — волки? — шепнула я.

— Пустяки, — сказалъ мнѣ докторъ. — Не волнуйтесь. Они не посмѣютъ подойти.

И вдругъ ямщикъ вскрикнулъ. Онъ вскрикнулъ даже не очень громко, но что то такое страшное, никогда не слыханное было въ этомъ выкрикѣ, что я сама закричала

и вскочила, и чуть не вывалилась изъ саней. А ямщикъ опустил голову и странно толчками сталъ падать вбокъ.

Оборотень схватилъ его за плечи, перегнулся, поймалъ вожжи и остановилъ лошадей.

— Такъ я и зналъ! — сказалъ онъ съ досадой.

Онъ осторожно положилъ парня на снѣгъ. Тотъ подергался еще и затихъ. Тогда Оборотень поднялъ его, втащилъ на свое мѣсто въ сани и укуталъ мѣховымъ одѣяломъ.

— Онъ умеръ? — робко спросила я.

— Эпилепсія, — отрывисто отвѣтилъ онъ и влѣзъ козла.

И снова снѣгъ и вѣтеръ. И еще это недвижимое тѣло рядомъ со мной. И мнѣ совсѣмъ худо. Ноги замерзли, меня укачало, мнѣ тошно. Я начинаю всхлипывать.

— Сейчасъ у перелѣска будетъ сторожка, — говорить Оборотень.

Туго скрипятъ полозья, сани ныряютъ... Снѣгъ, вѣтеръ.

Меня тащатъ по какимъ то ступенькамъ.... Вотъ я на полу, лежу на какомъ то сѣнникѣ. Старуха въ повойникѣ говоритъ: „водки бы, водки“. Чувствую, какъ мнѣ растираютъ ноги, слышу, какъ зубы мои стучать о толстое стекло стакана и спиртъ ожегъ горло.

— Ничего, ничего, — шепчетъ кто то около меня.

Лицо Оборотня, но такое печальное, ласковое, озабоченное.

— Бѣдная дѣвочка, — говоритъ онъ. — Достанется тебѣ отъ твоего дурака. Обидѣлась на меня... женихъ... Загрызетъ онъ тебя нѣжную, совсѣмъ, совсѣмъ глупую. Жаль мнѣ тебя.

А я все плачу, плачу и перестать не хочу.

Ласковыя руки гладятъ меня по лицу, укутываютъ, оставляютъ на минутку и тогда я начинаю громче плакать, чтобы снова онъ пришли.

— Защитите меня! — хочу я сказать, но выговорить не могу. Голова кружится... Засыпаю..

Потомъ утро. Въ обледенѣлое крошечное окно смотритъ яркій день. Ночная старуха въ повойникѣ третъ что то въ лоханкѣ.

— Встала? — говоритъ. — Ну, вставай. Чаю тебѣ дамъ. Только чай у насъ копорскій, звѣробой траву мы пьемъ. Старикъ на деревню ушедши, тебѣ за лошадямъ.

— Далеко до Озеръ? — спрашиваю я.

— Не-е. Верстовъ пятнадцать.

Въ углу за печкой вижу оборотнево одѣяло.

— Что тамъ?

Чего я такъ испугалась...

— Ямщикъ больной. Федька — припадочный. Ничего, встанетъ.

Отдалъ ямщику свою гордость — одѣяло!..

Я вспомнила дикую яичницу съ желѣзной вилкой. Защемило сердце, стыдно стало, что я хоть изъ вѣжливости не попробовала. Не хорошо..

Старикъ привелъ лошадей.

Уходя, я тихонько дотронулась до этого одѣяла. Будто извинилась, что оно мнѣ такъ противно было

\* \* \*

Въ большой помѣщичьей гостинной, обставленной твердой красной репсовой мебелью, высокій, глупый, совершенно чужой человѣкъ, Алексѣй Николаевичъ, закатилъ мнѣ идиотскую сцену ревности изъ-за того, что я ѣздила съ докторомъ Оглановымъ. И, когда я этому глупому и злому человѣку сказала, что не люблю его и женой его никогда не буду, онъ выпучилъ глаза и сказалъ недовѣрчиво:

— Быть не можетъ!

\* \* \*

Доктора Огланова я больше никогда не видѣла. И когда случайно вспоминаю о моей встрѣчѣ съ нимъ, кажется мнѣ, иногда, — а вдругъ хитрый Оборотень нарочно обернулся чудеснымъ, ласковымъ, единственнымъ, нарочно, чтобы разбить мое счастье съ прекраснымъ человѣкомъ, Алексѣемъ Николаевичемъ?







# Оглавленіе

	стр.
Книга іюнь . . . . .	5
Сердце Валькиріи . . . . .	14
Охота . . . . .	20
Лунный свѣтъ . . . . .	32
Катерина Петровна . . . . .	40
Мать . . . . .	48
Жена . . . . .	58
Лавиза Чень . . . . .	66
Мара Деміа . . . . .	74
Счастье . . . . .	80
Волчокъ . . . . .	85
Тихій спутникъ . . . . .	91
Кука . . . . .	95
Кафэ . . . . .	102
Мой маленькій другъ . . . . .	108
Гуронъ . . . . .	113
Была весна... . . . .	118
Гудокъ . . . . .	124
Жанинъ . . . . .	128
Вѣтеръ . . . . .	132
Золотой наперстокъ . . . . .	136
Заинька . . . . .	141
О душахъ большихъ и малыхъ	
1. Аннетъ . . . . .	146
2. Джой . . . . .	147

3. Фанни . . . . .	148
4. Въ трамваѣ . . . . .	150
Гермина Краузе . . . . .	152
Наклейка . . . . .	155
Три правды . . . . .	163
Лѣстница . . . . .	168
Весна весны . . . . .	173
Окно . . . . .	180
Дикій вечеръ . . . . .	186
Оборотень . . . . .	194



# РУССКАЯ БИБЛИОТЕКА.

## Вышли изъ печати:

- 1 и 2. Д. С. Мережковский. — „Наполеонъ“ т. I и II.
- 26 и 27. Д. С. Мережковский. — „Атлантида—Европа“.
- 3, 4, 16, 29 и 30. Е. Н. Чариковъ. — „Отчий домъ“, ром. т. I, II, III, IV и V.
5. А. В. Амфитеатровъ. — „Заря русской женщины“, очерки.
14. А. В. Амфитеатровъ. — „Русскій попъ XVII вѣка“.
6. З. Н. Гиппиусъ. — „Синяя книга“.
7. Б. К. Зайцевъ. — „Разказы“.
8. А. И. Купринъ. — „Елань“, разказы.
20. А. И. Купринъ. — „Колесо времени“, разказы.
9. И. С. Шмелевъ. — „Въездъ въ Парижъ“, разказы.
10. А. М. Ремизовъ. — „По карнизамъ“, повѣсть.
11. К. Д. Бальмонтъ. — „Въ раздвинутой дали“, поэма о Россіи.
12. И. А. Бунинъ. — „Грамматика любви“, разказы.
15. В. Н. Ладъженскій. — „За рубежомъ“, разказы.
17. Н. Тэффи. — „Книга-Юнь“ разказы.
18. Б. А. Лазаревскій. — „Лиза“, разказы.
- 19, 22 и 23. С. П. Мельгуновъ. — „Трагедія адм. Колчака“, ч. I, II и III, т. I.
21. Н. Рощинъ. — „Журавли“, разказы.

## Учебники:

- Л. М. Сухотинъ. — „Исторія Среднихъ Вѣковъ“.

## Печатаются:

27. С. П. Мельгуновъ. — „Трагедія адм. Колчака“, ч. III, т. II.
25. В. Оболенскій. — „Очерки минувшаго“.
33. Игорь Сѣверянинъ. — Стихи.

## Готовятся къ печати:

13. А. М. Ремизовъ. — „Ровъ львиный“, ром.
24. А. В. Амфитеатровъ. — „Русскій уѣздный городокъ XVII в.“.
31. И. Лукашъ. — „Сны Петра“. Трилогія въ разказахъ.
32. И. С. Шмелевъ. — „Родное“. — Воспоминанія и разказы.

# Библиотека для юношества.

## Вышли изъ печати:

1. И. С. Шмелевъ. — „На морскомъ берегу“.
2. Е. А. Елачичъ. — „Сильные духомъ“, разказы.

# Дѣтская библиотека.

## Вышли изъ печати:

1. Народныя Русскія Сказки. вып. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7. Саша Черный. — „Серебряная елка“, сказки.
8. Саша Черный. — „Румяная книжка“.
9. Вѣра Буличъ. — Сказки, кн. I.

## Печатаются:

10. Вѣра Буличъ. — Сказки, кн. II.

Цѣна 35 динара.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ КОМИССИЯ

Палата Академије Наука

Јакшићева ул. бр. 2.

Београд.